

К 142568.5

И. Полуянов

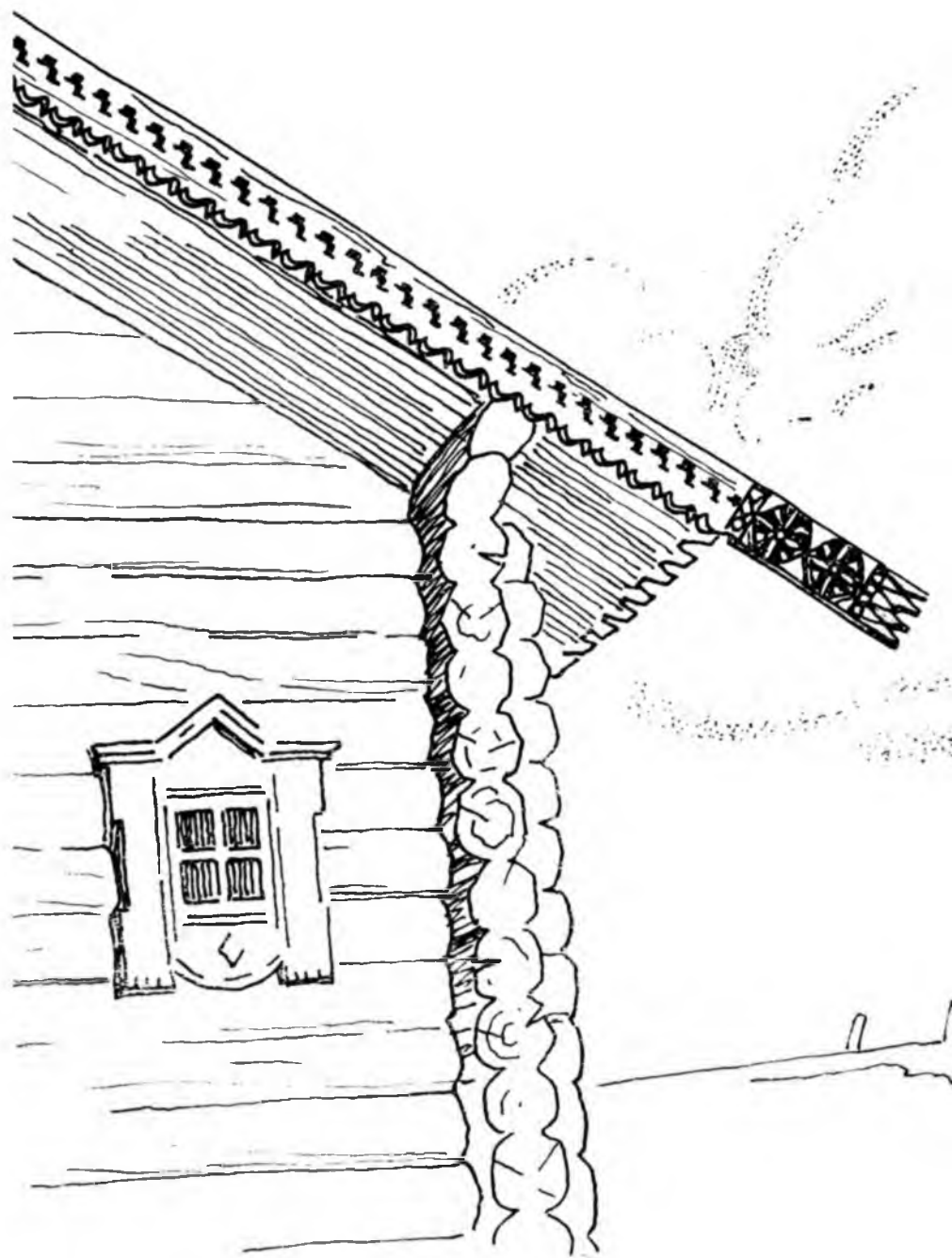


За синей
Птицей



СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ
К Н И Ж Н О Е
ИЗДАТЕЛЬСТВО

1969



И. Полуянов

За синей птицей

(лесной календарь)



Почему январь называют «дедушкой весны»? Что за таинственная «синяя птица» появилась в наших лесах? А цветут ли зимой цветы?.. Множество любопытных сведений о жизни обитателей тайги, о деревьях и травах рассеяно по страницам «Лесного календаря». Читатель как бы побывает и на глухих лесных реках, где водится форель, и у костра на охотничьих привалах, вместе с героями рассказов переживает радость открытий и горечь неудач.

Книга Ивана Полуянова «За синей птицей» (Лесной календарь) адресована ребятам, юным лесным следопытам, но с ней не без интереса познакомятся также и взрослые, те, кто любит природу.



ЯНВАРЬ — ВЕСНЕ ДЕДУШКА



Берёз-подростков снежной навесью склонило, загораживают тропы. Встречают березки у входа в лес, и воспринимаешь их, как запретные шлагбаумы.

Закрыты пути. Всё шлагбаумы, всё шлагбаумы...

Но стукнешь лыжной палкой по тонкому стволу — радостно воспрянут березки, отряхивая комья снега. Поднимется шлагбаум. Иди!.. Иди, в глубинах чащи ждут удивительные истории.

Они записаны на снегу. Кто как, кто чем пишет. Кто лапкой, кто ножкой, а сорока и ножкой, и крылом, и хвостом!

Заяц и зубом расписался — вон осину подгрыз! Грыз-погрыз осинку и заковылял к стогу сена. Ляпал лапами, на белую снежную страницу будто кляксы сажал. Да струсил, на махах умчался в кусты.

Кто его испугал?

А лиса! У нее уж было чистописание: аккуратненько лапочки ставила, к косому подбиралась. Но он тоже не забал. Услышал ее и задал стрекача.



Ночью по мелкому бе-
резняку приболотья
проскакала куница
Спешила—по метру де-
лала прыжки!

Вот тут горноста́й юлил на коротких своих ножках, гибкий, как змея, и в снег лазил. Под сугробом в лунке-копанке дремал бородатый глухарь. Чуть бы — и впился ему в горло горноста́й! Мышка помешала. Прошуршала рядом. Горноста́йка и о глухаре забыл. Цоп — и поймал ее. Вылез на лунный свет с добычей. Поволок, рад-довольнехонек. Поволок мышь в свою нору под валежиной, и хвостик мыши оставлял на снегу извилистую черту.

Январь — холода, снег, звериные тропы...

Когда-то величали январь батюшкой, ставили первым, старшим месяцем в году. Тем не менее бывал январь и пятым и одиннадцатым по счету. В древней Руси год ведь начинался в марте, ранней весной — от капелей с крыш,

от ручейков-подснежников. Позднее нволетие отмечали в сентябре — после сбора урожая.

«Сеченем» и «просинцем» слыл январь на Руси. У сербов-лужан — «зимцем», «первником», «новолетником». «Леднем» звали его чехи и словаки.

Январь — каникулы школьные, елка с Дедом-Морозом, с подарками.

Длинна, пышна у Деда-Мороза борода. Так бы и спросил:

— Сколько тебе лет, дедушка?

Сравнительно не много: лишь с 1700 года, по указу Петра I, Россия перешла на новый календарь.

Наши предки говаривали «Январю-батюшке — морозы». Зиме середка наступает, а стужа того пуще злится: «Январь трещит, лед на реке впросинь красит»: на льду отстужи выступает вода, делает подмокший снег синим. В январе, бывало, бабки внучат стращали: «Нынь мороз-ломанос!» Бегай, мол, да поглядывай, как бы обмороженный нос не обломился. А детворе что: на санках с горы катается и горя мало — щеки краснее яблока разругались.

Жестоки январские холода.

Между тем день прибывает. Стужа стужей, но январь — зиме перелом. С января «перезимье» идет, мороз весне весточку подает. Не этой ли приметой народной и рожден обычай, чтобы Деда-Мороза на празднике новогоднем еопровождала юная Снегурочка?

Отступает ночь, раньше солнышко встает, позднее закатывается. «Прибывает день на воробыный скок». И под снегом зеленым-зелены раннецветы, прячут в пазушках спеленутые листьями бутоны. И в погожий денек синички веселей поют, зимние трели на вешние меняют, вытренькивают: «Скинь кафтан! Скинь кафтан!»

Неспроста в народе отмечено близкое родство первого месяца года с весной: январь — весне дедушка!

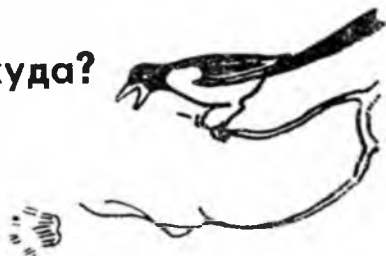
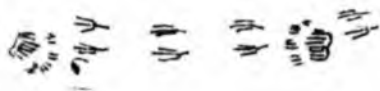


(ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ФЕНОЛОГИИ *)

Январь — трескун, елки на лучину щеплет, а бывал и мягким. В Вологде таким он выдался в 1949 году, когда в среднем за месяц температура была всего —4,4°, — в три с половиной раза выше обычной за многие десятилетия. Слякоть, дождь со снегом, гололед, — март среди зимы да и только... В свою очередь очень суровым выступил январь 1950 года: среднесуточная температура за месяц оказалась свыше 20 мороза — будто Заполярье придвинулось к Вологде!

Кто, где? Куда и откуда?

(АДРЕСНЫЙ СТОЛ)



МЕДВЕДЬ — в берлоге, завьюженной снегом, проспит да лапу полижет. Летом похожено, поброжено — намял на ступнях мозоли! Отверстие, через которое дышит зверь, — «чело», обращено в южную сторону: ох, не прозевать бы, когда весна желанная копейку застучит! Медведица вот не проспит, раз у нее уже мед-

вежата. Один, два, три или четыре.

ВОЛК — ноги кормят! Сегодня здесь, завтра — за полсотни километров где-нибудь на падали. В ряде мест волки уничтожены еще в 50-е годы. Всего в области уцелело, приблизительно, 70 волков **).

* Фенология — наука о сезонном развитии природы, обусловленном сменой времен года. Сам термин «фенология» появился в 40-е годы XIX в., однако в Вологде регулярные наблюдения за природой велись еще с 1806 г. учителем Алексеем Фортунатовым. Наиболее примечательные явления в жизни природы заносились в летописи с древних времен.

** Здесь и далее численность промысловых зверей и птиц дается по материалам Вологодской государственной охотничьей инспекции.



Филин — хозяин зимних таежных ночей.

РОСОМАХА — шляется лохматая зверюга без усталости, всюду нежелательный гость. У нас росомах не более тридцати: под Вытеграй, близ границ с Карелией, в лесах и болотах Шолы, Кичменгско-Городецкого, Вожегодского, Никольского районов.

ЛОСЬ — адрес искать нет необходимости: на Присухонских низинах, в виду дымных заводских труб Вологды и Сокола, и то встретишь лежки лосей в снегу, оскорбленные осины. Этих прекрасных зверей, гордости тайги, насчитывается в области около 15 000.

КАБАН — есть в Вологодчине: в дубняках Бабаевского, в поемных широколиственных лесах Устюженского районов. Егери-охотники выкладывают подкормку, без

помощи человека не превозмочь диким вепрем тягот суровой многоснежной зимы.

ГЛУХАРЬ — оседлый основательный житель. Зимой в борах, по болотам. Вылетает утром и вечером щипать сосновую хвою. Если мороз под 30°, то пешком к соснам добирается. Закружит замаять вьюги, ударят свирепые холода, глухари по трое-четверо суток безвылазно под снегом: голод — плохо, стужа — того хуже.

ЩУКА — всем известна, где ее только нет! После метелей и длительных холодов аппетит играет, и щука промышляет добычу по омутам.

СУДАК — и он непрочь заморить червячка. Потеплело — плывет в закоряженные ямы, к под-

водным каменистым грядам пойма-
ть рыбешку другую. Широко
славится судак с Белого озера.
Есть в Кубенском и Онежском

озерах, в Рыбинском море.

КАРАСЬ — кто в тине спит, кто
в лед вмерз... Не страшно, весной
оттают — поплывут!

СЕРАЯ ПУШИНКА

Все началось с гнездышка. Домика-шалашика пеночки-трещотки. Брусничные листья и волокна прошлогодних былин, хвоя и мох — решительно ничем крохотный шалашик не выделялся и, скажу откровенно, я его сбил сапогом, тогда увидел. Потому заметил, что выкатились яички. Внутри под покатой кровелькой, так искусно замаскированной, гнездо было выстлано серой беличьей шерстью.

«Ну и ну, — думал я, поправляя кровлю шалашика. — Где трещотка шерстью расстаралась? Серая шерсть, зимняя; летом, когда пеночки шалашики строят, белки красные».

Пеночка — птишка-невеличка. Чтоб она с белки шкуру на пух и шерсть для гнезда спустила? Взор! Белка, это да, зорит птиц. В том числе беззащитных пеночек в ихкрытых гнездах на земле. Ворует яйца, птенчиков. Но чтобы с нее самой за воровство волос драли?..

Птички в гнезда носят линную шерсть лосей, зайцев. Но то заяц. То лось, с которого шерсти-то лезет!

А от белки не велика корысть. Тоже линяет весной, да ее пушок небось ветром разносит.

Странно, что шалашик пеночки набит шерстью.

Очень странно...

Не подобрался ответ к загадке-дикувинке, напрасно ломал я голову.

Однажды зимой довелось мне искать елку. На базаре, конечно, какой-нибудь раскорякой обошелся бы: ни виду, ни хвоя, слава одна, что елка. Но коль в лес попал, то охота выбрать постройней, а хорошо бы и с шишками.

Глубоко в лес задался. Та елочка хороша, эта еще лучше. Высматривал я новогоднюю красавицу и вижу: у одной к хвойной лапке прильнула пушинка. Серая, беличья.

Средь зимы белка линяет?

Э, что-то не то...

Сунул я топор за пояс. Принялся бродить по ельнику. Круг сделал и наткнулся на беличьи следы. Зверек опав-

шие шишки грыз, кормился семенами. Шелуха насорена, стерженьки шишек валяются.

И тут же, возле елки, следы оборвались. На снегу бороздки крыльев. Не успела в испуге белка допрыгнуть до ближнего дерева, как распахнулись над ней хищные крылья, чиркнули по снегу, и на них и унеслась она неведомо куда.

Кто раззяву скогтил?

Вязну в сугробах со своими лыжами. Обыскиваю взглядом кусты, вершины деревьев и сугробы. Жаль, ветра нет: ветер навел бы, откуда занесло серую пушинку.

Под сухостойной осиной темное пятно. Капли крови. Будто брусника рассыпана. Сожрать добычу хищник не торопился: сначала ободрал шерсть крючковатым клювом. С хвоста остинки выщипал: вон длинные и темные волоски. Скорняк, право! Выщипывал мех и пускал с осины — у подножия пятно на снегу...

Один такой скорняк в лесу — ястреб. Он пух-перо, шерсть с добычи щиплет, оставляя от птицы или зверька, как белка, грудку перьев да шерсти.

Так вот откуда в гнезде у пеночки могло очутиться так много зимней беличьей шерсти!

То-то и оно: над иным лесным секретом долго ломаешь голову, за ключиком к нему идешь нелегким и окольным путем. Да разве короче бывает и путь серой пушинки в птичье гнездо?

НЕПОКОРНАЯ БЫСТРИНА

По берегам ручья нагромождения колодника, пней-выворотней, коряг-кокор. И все в снегу, все тускло, пасмурно. Затоплен лес тенью. Лишь вершины елок чуть розовеют. Лишь местами на полянах оранжевые мерклые лужайки, где свет заставил тени потесниться, опрокинул их навзничь на снега. А солнце низко, тени удлиняются, словно бы встают, чтобы и на полянах сомкнуться непроницаемой завесой. И давит мороз, и давят, душат текущие тени...

Я сюда хаживал осенью, когда после ночного дождика бывает паровито, туманно и купола муравьищ, просыхая, дымят. Стояли на белых ножках красные грибы, такие свежие, запашистые, что, казалось, шляпки у них с поджаристой корочкой. Прямо с пылу, с жару грибочки, утренней выпечки — клади в корзину, да не обожгись!

Лес жил тогда, полный красок, звуков, возбужденный и сияюще праздничный, открытый.

Не то теперь: зима.

Сухо скрипит под лыжами снег.

Тени встают с сугробов. Кокоры, выворотни в снегу. Снегом пересыпана хвоя.

Кормились рябчики возле пней, разгребая снег и склевывая на кочках твердую, как картечь, мороженую бруснику. Следы птиц — крестики. Серые, серые крестики.

Неподалеку звенит, выплескивает вода. Жив ручей. Жив одной бегучей струйкой...

Мелодия ручья в потаенной лесной глуши незамысловата. А трогает и волнует. Постойшь, послушаешь ее — есть, есть в ней сила! Сила зимнего леса — молчание. Сила непокорной быстринки — движение. Может быть, родился ручей в болотных хлябях, заросших ядовитым багульником, где змеи меняют кожу. Вытек ручей из погибельных ржавых трясины. Но пробежался лесом, очистил себя от наносной мути, настоял светлые струи на смородине, насквозь пропитался за лето прохладой теней, солнце до дна его высветило. И прозрачна, звонка стала вода. И непокорна. Чистое всегда непокорно.

К ручьям сходятся охотничьи тропы-путики.

Здесь тоже скамья для отдыха, срублена из березовых жердей. В развилке сучьев висит поилка, черпачок из серой бересты. Рогульки-таганок для костра готовы: сырой воды не желаешь, кипятить чай.

Как через бегучую струйку открылась судьба ручья, через птичьи крестики вкривь и вкось на снегах — смятение перед нагрянувшей зимой, так через скамью из жердей, таганок я понял: осенью у ручья делал привал хороший человек.

Старой елке, уроненной ветровалом поперек ручья, обязан ручей, что и в стужу не умолкнул. Ель запрудила ручей. Быстрота течения у лесной плотники не дает воде замерзнуть. Плещется ручей, будит снежное затишье. Лед у полыньи тонок, серебряно посверкивают пузыри воздуха, брызгаются и расстилаются по течению водоросли. Шершавый, в пятнах лишайника ствол елки подрагивает под напором потока, его колебания передаются обледенелому сучку. Сучок мерно дрожит, на нем набухают и срываются в дымную полынью сверкающие капли.

То бубнит, то звоночком разливается быстринка. Для кого? Кому весть подает, что жива?

И тут я увидел, что елку подрубили, тогда упала в ручей запрудой.

И поет, вызванивает быстринка...

Кто ее слышит?

Охотник делал на берегу привал. Скамья, черпачок-поилка и эта запруда его рук дело. Отдыхал, чаек попивал и слушал, как лепечет, колокольчиками разливается, названивает ручей. Нарочно срубил охотник елку, — поди, стояла, аренилась к ручью, двух взмахов топора было довольно, и затрещала, пала в воду. Сухая, трухлявая елка.

Был человек наедине с собой, поступал, как душа велит, и дал ручью голос, проникновенный говорок быстринки...

Я вынимаю нож из чехла. Закаменелое на морозе дерево поддается с трудом, не берет его, тупится лезвие. Тогда ломаю хвойные лапы. Выбираю самые густые сучья, ношу их к плотине и укрываю полыню, разломав ее пошире. Засыпаю хвою снегом, утепляю запруду и все прислушиваюсь: звенит ручей?

Не важно, чем ручей рожден: родником, болотной трясиной или топкой луговой низиной. Важно, что ручьями живы реки, как реками моря. Не в истоке дело, дело в исходе.

На глаза опять полагаются птичьи следы. Серые, серые крестики.

А, так вот почему держатся рябчики по ручью! Любят они послушать переборы перекатов, плеск и говор, неугомонную болтовню живых струй. Способны часами слушать, как вода прыгает по камням и взбивает рыхлую пену. Бывало, целые выводки рябчиков я спугивал здесь с ольшин.

Кто-то срубил на берегу скамью из жердей. Не для себя одного: если устал, дня довольно посидеть и отдохнуть. Он, незнакомый мне, обстоятельный и хозяйственный, повесил в развилке сучьев на виду берестяной ковшик...

Почему так получается, что лучшее достается не тебе одному, но и другим, кто придет за тобой?

Живая, непокорная быстринка теперь стала немножко и моей. Может, кого-нибудь и порадует говор ручья в снежном затишье? Хотя бы рябчиков, и то ладно!

Зачерпнув ковшиком, я пью из быстринки. Черпачок вешаю обратно на видное место.

Иду дальше, сухо скрипит под лыжами снег. И мне хорошо, и нет чувства одиночества, затерянности в этой глуши, где мороз, заиндевелая хвоя да серые снега: позади звенит, заливается колокольчиком ручей у лесной плотинки!

СУДЬЯ

С неохотой покинула она лежку в гряде бурелома. Потягивалась, разминая спину. Бросала по сторонам пронзительные, недоверчивые взгляды.

Ночь. Безмолвие. Луна. Красная, к непогоде туманная луна.

Тени. Промороженные уродливые тени...

И в самой росомaxe появилось сходство с ожившей тенью, когда пошла в ночной обход, держась ближе к деревьям, ныряя на прыжках под хвойную навись.

Невелик зверь росомаха. Есть в ее облике что-то медвежье и барсучье одновременно. Как барсук, низкорослая. Но мех шкуры бурый до черноты, медвежий, и морда толстая, широкая, медвежья. Острое рыльце и глаза словно в черной маске, так белесы лоб и щеки. По бокам и с бедер шерсть свисает попоной, окантованной светлой полосой. Для коротких лап непомерно длинны загнутые вниз когти. Неуклюжа росомаха: бежит, ноги заплетаются, косолапят, лохматый хвост трясется, как лишний. На лыжах легко ее настичь. О собаках речи нет, перехватят в два счета и посадят на дерево. Вообще-то лазать росомаха мастерица. С гор же кататься вдвое — свернется клубком да кубарем вниз с какой угодно кручи. Камни гремят, прах столбом. «Ай-я-ай», — всполошатся собаки. Суются туда-сюда, пока ищут спуск, росомахи след простыл.

Обмануть, исхитриться ей не занимать стать!

И в засаде сидеть мертво, и выследить по единственному оброненному перу кормежку глухарей на брусничнике, и по хрупкому льду на брюхе подползти к утке-подранку, и плавать и нырять... Умеет! Умеет исподтишка стащить, что где плохо лежит, умеет и по неделе сносить голод.

Крепостью хищной хватки вряд ли росомаха уступит хоть волку, хоть рыси. Где росомашьи и рысьи тропы пересекутся, там лесной кошке приходится туго: чем рысь раздобудется, росомаха отнимет.

На промысле добычи, при всей неуклюжей нерастороп-

ности, росомаха прилипчива и неутомима: возьмется кого преследовать, хотя бы даже лося, сутками гоняет, не считаясь ни с чем, и добывается своего. Ее изжелта-белые зубы способны дробить кости в крошево, наносить страшные рваные раны.

Перед сильным противником она однако падает на спину — лапы вверх. Скулит, хвост поджимая: не тронь, сдаюсь... Но чуть зазевайся враг, когтями распорет ему живот!

Тихоня росомаха — вечная бродяга, скиталица. Бродит где попало, всегда в одиночестве.

Есть в зверином нраве росомахи отталкивающая, дикая черта: с собой забирать голову жертвы. Мясо разорвет на части, спрячет под камни, на деревья, зато голову... Пусть непосилен груз, как лосиная голова: задом пятится, волоком волочит и не отступится, дотащит, куда ей надо.

В трущобе логово, в оврагах закоряженных, буреломных.

Потемки, сырость, ели в лишайниках, тишь глухая, и вокруг кости раскиданы, черепа... Привлеченные падалью, совы ухают и клювами скрипят... Идолово капище да и только!

А у идола — меховая попонка-пелеринка на спине, острое рыльце в маске. В маске наглые глазки, которые и недоверчивы и усмешливы, будто им известно такое, о чем другие и не помышляют, — наивные существа!

* * *

Час за часом росомашьи лапы пахали сугробы.

Бег остановила лыжня. Ноздри защекотало дымом.

Любой зверь, будь на ее месте, повернул бы назад: опасно! Человек! Росомаха потыкала носом в лыжню — и прямо вперед, прямо на запах дыма.

Тонула в снегах избушка. Керосиновая коптилка оставлена у окна — для путников, чтоб зря не блуждали по лесу. Да кому сюда идти? Глухомань! Напрасно мигает крошечным маяком коптилка, никого не заманил!

Поодаль, под елками, лабаз, амбарец на столбах. Склады вали в него охотники-промысловики запасную ловчую снасть, продовольствие и пушнину.

Росомаха взобралась на ель. С ее сучьев прыгнула на лабаз. Под когтями громыгнули обледенелые плахи кровли.

На привязях заголосили собаки. Распахнулась дверь избы, выскочил человек — босиком на снег. «А-а, пакостни-

ка!» Ударил запоздалый выстрел, по еловым стволам про- барабанила картечь.

Чаща уже укрыла косматого пахаря снегов.

Колесила росомаха по лесу. Навестила в сосняке мед- лежку берлогу. Положив морду на лапы, лежала, вслуши- ваясь в дыхание спящего зверя. Что привлекает росомаху в берлогам зимой, — необъяснимо, как многого остается зага- дочным в ее повадках.

Потом вновь встретился ей широкий двойной след лыж. Во всю прыть припустила росомаха. На прыжках спина е- горбилась, ноги сильнее когочаплили, неуклюжее тело разво- рачивалось поперек хода, зверя заносило из стороны в сто- рону.

Капканы. Деревянные плашки-западни на белок. Петли на рябчиков.

Как ни мастерски были установлены ловушки, особенно капканы, — росомаха, замечая малейшие отклонения в цве- те, в рыхлости снега, помогая зрению нюхом, находила их. Все равно сегодня не везло: накануне снасти были провере- ны и за ночь никто не попал.

Лес расступился перед болотистым лугом.

На ольховом кусту ветер качал ободранную заячью туш- ку. По лугу чаще других встречались росомахи же следы, вероятно, по этой причине выложили охотники приваду. Она выглядела целой. Но подойдя ближе, росомаха узнала: совы на привале побывали, голые ребра у зайца наружу.

К ольхе росомаха подползла, зарываясь в сугроб по уши. Подкопала и выковырнула первый капкан. К чурбану при- клепана тяжелая цепь: попадись, тут и смерть, сидя в кап- кане, на цепи не много прыгаешь! Где взялась осторож- ность: толстой неуклюжей лапой бережно очистила росо- маха снег, не задев сторожка. То ли подула на капкан, то ли фыркнула: на нее сгавить ловушки? Чтобы она вляпалась едуру в эту железяку? Что за чушь! Второй капкан ей не мешал, однако вынула из снега и только теперь, вцепившись зубами, сдернула зайца с сучьев.

Постарались совы, мясо оклевали дочиста. Наспех поглот- тав размолотых зубами заячьих костей, потрусила росомаха дальше.

Меркла, краснела луна — к несчастью.

Занималась поземка.

Росомаха остановилась. Слушала, смотрела.

Перелеском шумно продвигалось стадо лосей: однорогий старый бык, бычок с вильчатыми рожками, комолая лосиха и долговязый теленок. Рог матерому быку мешал, воротил голову набок. Разлатый, в десять отростков увесистый рог. Дось бодал стволы деревьев, цеплялся рогом за кусты и сварливо фыркал. Был не в духе, ему не терпелось избавиться от напастылевшей ноши, как избавился от первого рога, оставив его где-то в кустах. Теленок звал мать поиграть с ним, забегал вперед или отставал. Взбрыкивал дурашливо — хлеставый, долговязый, уши донухами.

Росомаха все видела, все брала себе на заметку.

Росомаха в основном кормилась с охотничьей тропы, во-
руя себе на пропитание из западней и капканов. Кроме того,
она не щадила в поисках падали на сотни верст в округе.

Сейчас середина зимы. Велик риск — обратить на себя гнев целого стада таяжных исполинов!

Стаду не миновать перейти ручей. Круты теснины берегов. На откосах снег не держался: выходы подземных вод покрыли льдом глинистую осыпь. Сколько ключей сочилося с берега, столько расцветок льда: от матового белого и синеватого, как подмоченный сахар, до ржаво-бурого и черного и прозелень. В единственном месте был отлогий спуск к ручью, прорытый вековой водой и обросший ивняком. Россыль захламляла в узкой расщелине, и тени сомкнулись вокруг нее.

травы. Через осиновую кору, хвою сосен и листья берез, питательных чудодейственными соками. Через солнце, через воздух — целебный воздух сосновых куртин, пропахших грибами и земляникой. И через воду — чистую, прозрачную воду родников и рек, то бурных, то медлительных. Лес, просторы таежные вспоили, вскормили великанов, грозную силу им дали в стройные ноги, в острые всесокрушающие копыта, в пудовые рога.

И росомаха заступила им путь — косолапая коротышка в меховой попонке?

Стадо валило напролом. Тяжелыми тушами лоси глубоко вязли в сыпучем снегу, и за ними синела под луной широкая канава. Разве этих громад удержат сугробы? Трещали кусты, скрипел снег.

Слушая приближающийся грохот, росомаха смеживала веки, чтобы и блеском глаз не выдать засаду. Пасть забита слюной. В горле возникала странная холодящая пустота, заставлявшая поджимать и распускать когти. Минута-две решат все. Одним ударом лапы переломить хребет молодому оленю, перекусить ему горло и захлебнуться горячей кровью... Прыжком настичь взлетающего глухаря... С дерева свалиться на рысь и отнять у нее добычу... Было! Было! Ночи погонь и засад, скитанья по хвойным дебрям, сотни, тысячи километров тайги, хилых, чахлых сосняков студеного приморья... Все было! И весь опыт, всю хищную сноровку требовалось сейчас напрячь ради одной-двух минут, когда решается успех. И потом разорвать теплое, дымное на стуже мясо, растаскать по деревьям, а голову забрать с собой...

В любом хищнике живет судья: карать слабых и опрометчивых.

Он рисковал, судья. Не мог иначе — таков уж неумолимый закон дикого леса.

Как попало, вразброд лоси пересекали луг. Лосенок смешал походный строй, где его место, как слабейшему, в середине стада, и бык-рогач, занятый боданьем кустов, и лосиха спустили ему: мал, пусть подумается! Ничтожная трещина наметилась в шагающей твердыне лосиного стада — и судья занял место. Ощетинен загорбок, слюною забита пасть...

Самонадеянно шли лоси. Грудью раздвигали кусты. Дурашливый подросток — сил девать некуда! — вдруг ударялся вскачь, забегал вперед, вдруг и отставал, тянулся мягки-

ми губами к ветке осины, показавшейся ему соблазнительной.

До сих пор лоси безвыходно жили в лесной болотистой низине вблизи деревень. Осинник, ивовые заросли на границе топких мхов. Пожни, где в бескормицу можно подтеребить стог с сеном. Посреди топей остров с ельником, служивший укрытием в непогоду... Нужды не было менять такое угодье на другое! Волки давно выбиты. Медведи и рыси окрест не водились. Что же до собак, набегавших в болото, то полают и отвяжутся. К людям лоси привыкли, да и редко встречали людей. В зной легом мошара и оводы выгоняли лосей к деревням, им выпадало пастись рядом с коровами, и это сходило благополучно, если не считать, что надоедали собаки, да раз бык с кольцом в губе приревновал старого лося к буренкам и вздумал с ним потягаться. Пастухи кнутами отогнали задирю. Правда, лось смиренно уступил, поспешив исчезнуть до их вмешательства.

А нынче люди затеяли осушку болота под поля и покосы. Появились тракторы, канавокопатели, экскаваторы.

Работа, начатая огнем, продолжалась зимой: дотемна, что ни день, грохотало, лязгало металлом болото, шарили по нему фары автомашин, горели костры, и лоси в конце концов расстались с обжитым краем.

Комолая лосиха — на переходе она главная — повела стадо в дальние, знакомые ей по детству места.

Не только к людям привыкли лоси, обитая с ними бок о бок.

Они привыкли к беспечности мирной, ничем не тревожимой жизни.

* * *

Поземка мела — вестник вьюги.

Ближе, отчетливей стук копыт, шумное дыхание.

Стадо сгрудилось перед заледенелым спуском. Росомаху обдало теплым запахом. Ноздри затрепетали. Она сжалась, как пружина. Задние лапы нащупали точку опоры. Пропустив переднюю, осторожно ступавшую по спуску лосиху, росомаха обрушилась сверху на лосенка.

Хрип, стоны... Неразбериха и сутолока... Негде великанам развернуться: впереди скользкий лед, по сторонам крутизна откосов!

Лосиха одним прыжком одолела ручей. Старый рогач растерянно вскинулся передними ногами на обрыв. Хотел выброситься наверх. Отвесна расщелина, посыпались камни, лось оборвался, упал на колени и загородил проход. Лосенок с росوماхой на хребте, перепрыгнул через него, в то время как молодой лось-рогач в страхе ринулся в кусты и застрял среди мешанины камней и сучьев. С трудом выпарапался оттуда, ударился бежать назад, к лугу.

Росомаха терзала шею лосенка, который напрасно взвивался на дыбы, чтобы скинуть зловещую наездницу: прилипла, не оторвать.

Ручей в стужу промерз до дна. Выступив на лед, вода застыла гладкой корой. Чиркнули копыта по гололеди и разъехались — лосенок на всем скаку покатился через голову. Упал и придавил росوماху: не успела соскочить.

По льду лосенок проехал на боку и оставил оглушенную ударом хищницу позади.

Поднялся. Сперва шагу не мог ступить. Его трясло и шатало. И шатаясь пошел по ручью, и, оскальчиваясь, побежал — быстрее и быстрее. Кровь из раны пятнала снег.

Росомаха опаматовалась, вскочила. Поздно! Подоспевший старый бык вскинулся и опустил на нее копыта.

* * *

Стемнело, тучи накрыли луну, и все утро, весь день было темно, солнце не показалось, сыпал снег, ревел ветер, завывая белые смерчи.

Свистело, гудело в лесу. Раскачивались сосны, мохнатыми лапами обороняясь от порывов ветра, точно схватываясь с ним врукопашную. Сучья, сбитую хвою несло далеко прочь. Гнулись березы. То и дело какая-нибудь елка, запарусив кроной, падала, обломленная у самого подножия, и тотчас к ней навивало сумет.

Еще свирепей орудовала метель на равнине. Ветер, перемешанный с сухим колючим снегом, валил лосей с ног.

Всего вернее было бы им лечь и переждать метель.

Стадо упорно продвигалось вперед.

Молодой лось по следам догнал стариков с теленком, и теперь все были в сборе.

Колючая холодная пыль забивалась в ноздри, в глаза и уши — как оглохшие и ослепшие, шли лоси сквозь пургу.

Лосенок от потери крови ослаб, спотыкался: лосиха мычаньем звала его за собой, старый, теперь комолый лось — рог он все-таки обронил, — подталкивал раненого грудью, с храпом потягивал в ноздри: и он был измотан тяжелым переходом.

Метель поутихла, когда стадо достигнуло цели — поляны в сосновом островке, в центре обширных болот и гарей. Иссяк снегопад. Унялся ветер. Очистилось небо от туч.

Были звезды, как минувшей ночью. Была луна и черные уродливые тени. Промороженные вялые тени на омытых луюю снегах. Но то лосиха поминутно водила ушами, слушала, то старый лось просыпался, то все сразу. Лосенок зализал рану, перестала кровоточить, но болела и, забываясь в дремоте, он постанывал. Лосиха, лежавшая рядом, толкала его без жалости: тише!

Лунные тени подтянулись к соснам, поляна искрилась, переливалась осколками битых снежинок — время клонилось к полночи.

Родился в тенях бегучий шорох. Стадо мгновенно выстроилось в круг. Раненый теленок очутился под защитой старших. Не таясь более, лоси ходили по кругу, протапывая до земли обширную площадку. Храпели, дыбом поднимали шерсть.

Как ни мела пурга, не замела глубокую, широкую борозду лосиной тропы.

Волки бежали вдоль тропы рысью. Шестеро, как один, след в след, ведомые опытной волчихой. А ее вела кровь. Капли крови, вмерзшие в снег.

Бежали волки, растянувшись цепью, и цепью окружили лосей. Как изваяния застыли лоси. Заняла оборону шагающая крепость.

В осаду легли на снег волки.

Тишина.

Лунный свет. Лунные тени.

Молча лежали волки. Не шелохнулись лоси, и раненый лосенок стоял, как все: прижав уши, нагнув голову, отчего казался горбатым. Молод и слаб, но меткий удар его копыта — гнилым орехом расколется волчий череп. Лоси изготовились к смертному бою.

Молча наблюдала, изучала опытная волчиха. Искала и не находила изъяна в позиции лосей. Неожиданно поднялась. За ней рысцой потрусили остальные из стаи.

Как один, след в след. Как один, молча.

Пропал в тенях, в сверканье разбитых метелью снежинок бегучий шорох.

Снята осада...

Отдыхали лоси, жевали жвачку.

И опять то один, то другой, то все сразу прыдали ушами, обнюхивали воздух.

Они были приговорены: вечно быть настороже, вечно на чеку.

Позади, за лесом, за гарью, на ручье копошились в снегу совы в попытках добраться до того, что было недавно росмахой — идиолом с острым рыльцем и меховой попонкой на спине. Судьей — с ошетиненным загривком и пастью, забитой слюной.



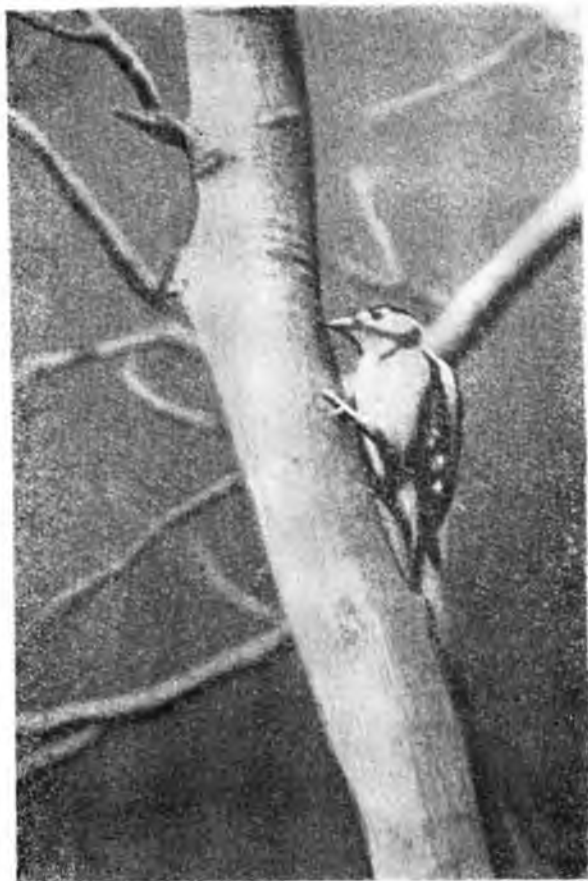
ФЕВРАЛЬ — БОКОГРЕИ



Ели во всем темном, хвойные подолы приморозили к снегу. Березы стучат обледенелыми ветвями, будто зубами от холода клацают.

Про февраль сложено присловье: солнце на лето, зима на мороз. И верно: мороз, а солнце запригревало. Метнулась белка из зеленой хвойной гущи. Скок-поскок, с сучка на сучок. Нате вам: она на макушке! Жмурится. Кто где солнечные ванны принимает, но белка всегда где повыше. Первая начинает пляжный сезон. Февраль — враль, один бок белке греет, другой студит. Хвостом белка — дерг да дерг. Все равно рада, что она первая.

Зайцы покинули рыхлые снега ельников. Взойдет ночью луна — серебряные рожки, золотые ножки, — и носятся косые. По опушкам, прогалинами. Как шилья калят! Иной лопухий вдруг примется выкомаривать: и прыжки у него, и на полном скаку повороты. Перед зайчихой выставляется. Зайчиха сидит на задних лапках, передние держит, как дама ручки для поцелуя. А косой возле нее: прыжок влево, скачок вправо, через голову кувырк! Ай да ухарь, хвост одуванчиком — жених, жених!



Пооттаяла на прогреве
кора, легче стало ра-
ботать тлежному хи-
рургу — дятлу.

Курятся поземкой сугробы. К утру, глядишь, метель.
Запуржит — не понять, где небо, где земля.

Сутками не унимаются метели, сутками длится завару-
ха и стонут, гудят провода...

В такую погоду хорошо очутиться в жарко натоплен-
ной избе, гостем какой-нибудь приветливой бабушки-гово-
руньи, — то-то рассказней наслушаешься! И, конечно, о ма-
сленице — тридцати братьев сестрице, сорока бабушек
внучке. Ее праздновали катаньем с гор и на санях с под-
дужными колокольчиками. С блинами и пивом. С гулянь-
ем, с ряжеными! Этот праздник возрожден, как провода
русской зимы. Многие же февральские обычаи устарели,
забыты прочно.

— Раньше-то об эту пору, в Викулов день, пирог с лу-
жом пекли, — рассказывает бабушка. — Чтобы счастье в
дому было.

Смотрит бабушка в окно. На улице мечутся белые космы
вьюги, гудят провода.

— Пекли прежде пироги, из избы выставляли: счастье,
вишь, заманивали — к нам в избу не зайдет ли?

Дребезжат стекла: под окнами идут грузовики, буксуя
в снежных заносах.

Февраль, февраль — кривые дороги... Добавляет он хло-
пот шоферам! И фары у машин включены, как ночью.

Когда стихнет ветер, то лучезарно сияет небо и чернеют
молодо леса. Ни сединки в зеленых кудрях сосен, снежную
навись сдуло метелью напрочь.

Мороз. Солнце. Алеют заросли таловых кустов. Желтая
синица задорней день ото дня вытренькивает:

— Скинь кафтан! Скинь кафтан!

И есть кому ее советов слушаться, скидывают шубы-
кафтаны. Рыбы, такие как голавли, лини, караси — зимой
в «шубах». Слизь на теле выступает. Густая, теплая. Ее ры-
баки и зовут «шубой». Душно подо льдом на исходе зи-
мы — рыбе замор. Подвигаются ее косяки к устьям рек и
ручьев, впадающих в озера. На быстрины-перекаты идут го-
лавли. Трутся в тесноте — «шубы» снимают...

Последний месяц зимы по древнему календарю и в году
стоял последним. «Сечень», «снежник», «лютый», — много
прозвищ было у февраля месяца — кануна веоны, когда
«зима рог ломает».

Ты. Морозко, не сердчай.
Из деревни убегай, —

пела когда-то детвора, —

Что за тридевять земель,
Что за тридесять морей!
Там твое хозяйство
Ждет тебя заброшено,
Белым снегом заporошено...



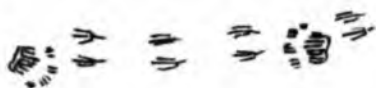
Самое-самое-самое

Самый холодный вологодский день был 10 февраля 1946 года. В Великом Устюге термометр показал 49° мороза!

Капель — наковаленка весны. Всего раньше — первого января — застучали ее молоточки в 1938 году, очень запоздала капель в 1910 году, когда сосульки с крыш повисли 23 марта.

Кучевые облака — небесный ледоход. В 1932 году он начался 7 января, в 1908 году заставил себя ждать до 17 апреля.

Кто, где? Куда и откуда?



ЕНОТОВИДНАЯ СОБАКА — тепла шуба — не пугает стужа! Но зимой енотка-лежебока спит в норе, а то и в подполье заброшенного хутора, просто в стогу сена. Очнется от дремоты, ухом ловит предвесенние перезвоны синиц. В Вологодчине енотки самовольно расселились из соседних областей.

ВЫДРА — мороз не мороз, странствует выдра-рыболов. Переходы дальние строго по прямой: лесом так лесом, полями так полями. Плотнее заселены выдрой незамерзающие, обильные полыньями перекастистые ручьи и речки (Прионежье, Бабаевский, Тарногский районы,

глубинные водоемы лесов Никольщины, Тотмы).

ГОРНОСТАЙ — охотится под снегом вблизи гумен, соломенных скирд, кладей льна. Мышей, крыс промышляет. В сенокосных угодьях, как на Присухонье, держится вблизи стогов.

БАРСУК — в оттепели-потайки делает разминку. Повалется на снегу, ковыляет обратно под землю, сны зимние досматривать. Норы по оврагам, на лесных буграх, часто колониями.

БУРУНДУК — погрыз корешков, сушеных грибов и ягод из запасов, да опять свернулся клубочком: рано вставать. Характерен бурундук для лесов северо-вос-

точной зоны области, на западе встречается вплоть до Вытегры.

БОБР — новосел и старожил одновременно. Когда-то обитал повсеместно, однако даже в XVII веке на торжищах в В.-Устюге не бывало среди пушнины драгоценных бобровых шкур. Последние бобры сохранялись под Тотмой до середины XIX века. Первые бобры в Вологодчину вновь попали в 1949 году из Белоруссии. С тех пор их завезено 372. Имеется девять крупных поселений-заказников в Вытегорском, Тотемском, Харовском, Нюксенском и некоторых других районах. Бобров у

нас более 1400. На исходе зимы сказывается оскудение запасов с осени заготовленного корма: веток, осиновой коры. Бобры роют подснежные ходы к зарослям ивы, в мягкую погоду выходят и на поверхность снега.

СЕРАЯ ВОРОНА — «Кар-р... Кар-р!» — галдят серые на тополях. Тучи их, просто тучи! Готовятся в обратный путь на Север. Ведь у нас, под Вологодой, зимуют вороны Архангельска, Нарьян-Мара и других северных местностей, наши же вологодские проводят зиму на широтах Подмосковья и южнее.

СНЕГОВИК

Голубыми ручьями растекались тени, словно бы дымя на снегу. Вспыхивал искрами, горел снег, и березы на солнце пылали голубым огнем. Вот-вот тени дымные, все их ручейки вспыхнут, — так много света в зимней березовой роще!

Она среди полей. Скорее не роща — перелесок со множеством пешеходных троп и наезженных дорог.

Только приглядишься, в каждом лесном уголке, будь то крепи хвойные, закоряженные ветровалом, все во мхах и хвощах, в колоднике и лужах застойной воды; будь то бор сосновый — красные стволы, горячий песок, смолистая истома коры; будь то черемушник по ручью, где пахнет сырой травой и дикий хмель обвил кусты, — в любом уголке есть свое, неповторимое. Дебри дремучие выражают себя гулом верхового ветра в непогоду, а роща молодых берез в полях — она чем?

Может быть, ручьями теней? Или белыми стволами?

Гомонили в роще синицы-лазоревки.

Не часто попадают лазоревки на глаза. Я на лыжах к ним — они от меня. Пугливые очень. Снялись дружно стайкой.

— Си-си-си, си-тре-та-та, — прокричали. Прошумели крыльшками, и нет никого, одни ручьи теней, белые березы и голубое небо.

Жаль, что не подпустили. По красоте оперения лазоревкам нет равных среди синиц. Солнечная желтизна грудки. Зеленовато-голубые крылья. Лазурные хвостики. Темя и затылок темноголубые... Лазоревки, одним словом! Порхнули с берез — как полевые цветы рассыпались в воздухе.

Не лазоревками ли и выражает себя зимняя березовая роща? С голубизной текущих теней, с солнечными лужицами на снегу, с белой корой и коричневыми, в лиловой роще сучьями нашла она себя в этих синичках. В краях их оперения, в переливе их трелек:

— Си-си... тре-те-те!

Черным заштрихована береста. В странных непонятных значках белая кора. Будто ноты записаны.

— Си-си, — тоненькими голосками пропели лазоревки. Напоследок прищелкнули дробно и в разнбой:

— Тре-те-те!

И будто кто звонкой палочкой прошелся по березовым тугим стволам: тре-те-те!

Белые щеки, черно-голубой ошейничек, голубой пух на хвосте, ножки и то голубые, — рассыпался полевой букет, трепеща крылышками, и улетел. Улетел, а березовая роща показала мне сияющую задушевную свою глубину, и слышу я, и не смолкнет во мне музыка ее стройных стволов, ее ручьистых дымных теней и тонких сверкающих на солнце ветвей.

— Си-си... тре-те-те! — опять сыграли лазоревки по нотам белой коры и смолкли. Знать, нашлось им чем клювы занять. Попалось съедобное.

Вперед прогалина. Заснеженные кусты можжевельника.

Выглянул я. А на прогалине-то снеговик!

Кое-как, грубо скатаны два шара, поставлены друг на друга. Кособочится снеговик. Нелепый и нескладный. На голове дырявая кастрюля. Ручки совсем, как уши. Нос — еловая шишка. Брови тоже из шишек.

Э, брат, пейзаж ты портишь!..

Метла бы снеговiku положена. Метлы нет никакой. Еще повысунулся я из-за березы, вижу — держит снеговик крышку фанерного ящика. Тара небось была. Ящик из конфет или печенья. Что-то там такое насыпано, и прыгают лазоревки по подносу, клювы тук, тук.

Ловко, ловко! Ну и кормушка!

Завидели меня лазоревки — пых-порх. Насмотрелся, пусть летят.

И думал я теперь, что вся звонкая душа серебряной зимней роши в этой вот нелепой снежной фигуре: кастрюля на круглой башке, вместо носа еловая шишка, прижат к груди фанерный поднос — эй, не зевайте, угощаю!

Вели к снеговiku следы лыж. Узких лыж — ведь рошей бегают в школу деревенские ребяташки...

ОЛЯПКА

Со стужи я зашел обогреться в дежурку межколхозной ГЭС. Мало-помалу дежуривший на станции монтер разговорился и между прочим выложил, что с нынешней зимы держится на реке диковинная, как он сказал, «жиличка».

— Из себя невидненькая, со скворца. Голос приятный, распевает — мороз ей, не мороз! Вежливая: иду линию проверять, загодя непременно раскланяется, как поздоровается. Ей-ей, не вру!

Он сдул с губы приставшую крошку табака и улыбнулся.

— Ей-ей, поклоны бьет! Жиличка-то... За знакомца признает, что ли? А летает она, будто к воде привязана. Талица — поворот, и птаха делает поворот. Стелет и стелет над рекой, ровно план снимает: ни одной извилины не пропустит. Махает крылышками, летит, да и ныром в реку. Ей-ей, правда истинная, — горячо убеждал монтер, размахивая папироской. — Только что крылышками, значит, воздух загребала, а тут под водой, теми же крылышками себе лособляя, по дну бежит... Или прыгает жиличка-невеличка с камешка на камешек, да и уйдет под лед с головой.

— А что, ГЭС у вас давно работает? — спросил я.

— Третий год.

— Если так, в самом деле интересно. Но увижу ли я вашу жиличку?

— Обязательно! — сказал монтер. — Куда же ей деться? Возле воды ищи.

Бревенчатая плотина за зиму вся заледенела, обросла сосульками, как пещера сталактитами. С ревом вырывалась отработанная вода из турбин, и была она черная, сталлся от нее туман.

После натопленной дежурки на воле дышать стало нечем, стужа опаляла горло. Я поднял воротник и направилсь дорожкой от столба к столбу вдоль реки.

Прошел я с километр. Река тут не замерзла. Русло извилисто темно, дымил стылым паром. По берегам громоздились сугробы. Пар оседал на деревьях: каждый прутик был точно из одного инея вылеплен.

Тропа, проложенная по берегу, повернула за столбами электропередачи к деревне на бугре.

Что предпринять? Вернуться ни с чем или сугробами пробиваться? Решил: сугробами! В валенки снегу начерпал, вместе с сугробом сполз в реку, ноги промочил... Обеспечился я, кажется, насморком! Делать нечего, пройду вон до тех черемух и — обратно.

Дошел до черемух. Дошел до ольшаника... Нет нигде жилички-невелички! Вдруг сзади слышу: вроде бы кричит куличок. Ну да, выкрикивает из-за поворота куличок-перевозчик! Вот странно: кулички все ведь на юге. Уж не «жиличка» ли это?

Ползком, ползком я обратно по собственным следам. О промоченных валенках в азарте забыл: успею я застать пелунию? Не успею?

Успел, не улетела!

Расхаживает, вижу, с камня на камень птичка. Буроватая, в белом нагрудничке. Клювом туда, сюда ткнет, шарит под камнями. Хвостом подрыгивает, ставит его торчмя. Дятельная, подвижная — на месте не постоит.

Спустилась она с камня в воду. Окунает головку, тычет клювом, словно щупом. Глубже и глубже она забредала, наконец вся ушла под воду...

И вышла на отмель с чем-то светленьким в клюве.

Кого схватила: рыбку-малька, жучка, а может обманулась, вынесла из воды бесполезный осколок раковины?

Со слов монтера я составил мнение: жиличка-то — водяной воробей, оляпка. Что «воробей», это понятно. Обличье у нее воробьиное, характер тоже — живости, задора-то в ней! И что «водяной» она, ясно: плавает, ныряет, по дну бегаёт. Только с какой стати она «оляпка»? Невольно на ум является поговорка: тят да ляп, готов корабль. Глядя, как бойко орудует птаха в реке, разве скажешь — аляповатая работа!

И еще обстоятельство загадочное — кто подал водяному воробью весть, что Талицу перегородила плотина и река, подобно горному потоку, сейчас не замерзает? До постройки ГЭС, я уверен, оляпки на Талице не водились. Они — обитатели незамерзающих, с прозрачной водой ручьев и рек, преимущественно горных.

Что-то светленькое защемила в клюв жиличка-невеличка, выскочив на отмель. Малек, наверное, есть у оляпки наклонность к рыбному столу.

Падать с лету в воду, бегать по дну, точно по суше, плавать, загребая крылышками, как веслами, — и все лишь на то направлено, чтобы схватить жука-бокоплава, малька? При таком умении, поразительных возможностях столь малым удовлетворяться и при этом еще петь? Эх ты, оляпка! Я покачал головой и усмехнулся.

Стылым туманом курилась река. Розовые лежали сугробы. На омете соломы, распушив перья, корчилась озябшая ворона. Сморгивала ворона озадаченно: нет, улечу-ка я, куда глаза глядят! Бр-р, холодно... Улечу!

А на реке по грудь в воде, задорно, бойко выкликая, хлопотала кургузая птичка. Задирала вверх хвостик, шарилась клювом под камнями...

ПЕРЕСЕЧЕНЬЯ ТРОП

Вскидывая передние лапы на осину, пес скреб кору и привычно, с провизгом лаял: «гам-гам... и-и, гам!» Там зверь, там-там!

Вровень с елями чащобного урочища, коченевшего в лютой зимней стыни, осина была высока и раскидиста. Тяжелочугунное подножье бороздили трещины. Ближе к вершине ствол, гладко круглясь, становился из темного светлым, иззелена-бледные толстые сучья громоздили на себе мерзлые сугробы.

Старик топором сделал затес и сплеча заколотил обухом. Бил, бил — без отзвука глохли тупые удары. Немо и угрюмо каменела осина разлатой громадой. Щепотки инее не сронив, ширились сучья.

— Леший возьми! — Запыхавшись, старик кашлял и сморкался. Бороденка, брови в инее, в сосульках. — Возьми леший эту погоду! Выгонишь кого разве на мороз-то?..

Спятися он немного, чтобы и верхние сучья держать в виду. Взялся за ружье. Коли зверь на осине, шугануть его, выскочит!

После выстрелов хлынул сверху обвал белых вихрей.

Снежное облако осело мелкой колючей пылью. Деревья все так же недоступно поднимало крону, сугробов там не убавилось и не подавало оно признаков ничьей жизни..

— Скажи, дикий, — напустился старик на пса, тряс бороденкой. — Времени-то проманили, патроны даром жгу. Облаялся, ну? Облаялся?

* * *

В зазимье на сквозные голые леса нападают бури. Шквальными порывами ветра крушит сухостой, ломает, валит деревья. Осину расшатало до основания, корни трещали. Отделалась все-таки дешево — потерей нескольких подгнивших ветвей.

Повадился весною к осине дятел, выдолбил на месте обломленного сука обширное дупло. Оно было высоко, его заливали дожди, пахло дупло гнилью и осталось незанятым, одни синицы-вертячки иногда после гроз купались в коричневой теплой воде и при этом визжали на весь лес.

К следующей осени под дуплом вырос гриб-трутовик. Белка погрызла его и задержала хвостом: тьфу, горечь! Дупло она очистила от трухи, наволочила с елок сухих лишайников, надеясь за толстыми стенами без лиха провести зиму.

Как-то в ее отсутствие к осине набежала серенькая глазастая летяга. Дупло ей понравилось. Летяга учинила разгром, повыкидав из него, что белка натащиала, напоследок напакостила и скрылась.

То-то цскала потом белка, вне себя от гнева глаза закатывала: да что же это такое?

Больше к осине белка уже не вернулась.

А летяга? Летяга заняла дупло. Совесть совестью, но зима на носу.

Утеплела она дупло мохом. Березовых сережек, кисточку-другую брусники, сушеных опять сложила про запас — зимовать, так зимовать.

Летунья летяга, каких поискать, да вчерашней ночью сонную задушила ее кунница прямо на дому: в морозы летяги спят.

Гнездо прогрето, утеплено. Уют, чистота. Тоши они, летяги, вот в чем грех. С постных их харчей не разжиреешь, пробавляются почками. Ну, зимой не время привередничать. Тем довольствуйся, что сыт и в тепло попал! Помурлыкав, улеглась куница, чистила языком шерсть.

Голод... Возвещает о себе голод оранжевыми сполохами закатов, которые сулят стужу на стужу, волчьим воем с болот и шепотом звезд из морзной мглы.

Скачет, греется на морозе зайчишка, стежку топчет. Рысь прижалась к суку: спуску ему не даст. Филин разинул хищный клюв, моргает с елки белыми веками: готов насесть. Горноста́й вытянулся столбиком: своего не упустит... Топ-топ-топоток, — шерстистые заячьи подошвы по снегу. И сколько на них клыков, сколько когтей нацелилось!

Холод. Синие снега. Пустыня хвойная...

Коряжится осина сучьями, каменеет массивным стволом. Недоступно высоко дупло, куда куница проникла с соседней ели.

Последний мазок язычка — порядок, шубка вылизана. Мягкая, шелковая. Другой такой в целом лесу нет. Мех бурый с благородной палевой подпушью. Под горлом, точно солнечный знак, оранжево-желтое пятно.

Свернувшись клубочком, куница затихла. Хвойник, цепенеющий в студеной изморози и снегах, с поднятыми пиками острых вершин, встал ей на стражу.

Ни следа под осиной. Лишь на пути, где пролетал по хвойным сучьям, по висячим сугробам солнечный пушистый блик, осталась едва приметная посорка на снегу: где чешуйка коры вниз упала, где мерзлые иглы обломались, иней осыпался...

И под вечер натекла к осине собака, охотничья лайка.

Разнежилась куница. Ухом не повела на истошные вопли пса: скачи, лохматый, высоко, не допрыгнешь, лапы коротки! Но удары топора... Мягкая, шелковая шерстка от страха зашевелилась. Неминуемая беда стучала, гремела обухом!

Горды куницы своей шубкой. Нежат ее, холят. Но, бывает, чем хвалимся, от того и принимаем погибель, и приходит неумолимый охотник: ну-ка, снимай меха, поглядим тебя голенького!

Ни жива, ни мертва от страха заби́лась куница под мох летяжьего гнезда.

Чуть бы повремени охотник, доверься чутьистому псу, она в конце концов выпрыгнула бы из дупла и подставила себя под выстрел. Бежать... Спасти́сь от лая, от грома ружья! Поверху куница носится, прыгая с дерева на дерево, так, что и собака не скоро настигнет. Уйти... Сейчас же! Запутать след, затаиться в хвое!

Старик торопился домой на лежанку:

— Возьми леший эту погоду. Стужа-то... эх она жучиг, спасу нет.

За ним, поджав хвост, поплелся по лыжне сконфуженный пес.

* * *

Осмерклось, высыпали звезды. Из дупла куница прыжком перемахнула на елку. По ее суковатому стволу, извиваясь гибко, спустилась вниз и стелющимися скачками помчала от осины.

Скакало солнечное пятнышко галопом. Задние лапы точно попадали в след передним: пятки вместе, носки врозь. По лыжне, по снегу-целику, сквозь хвойную стынь, вверх и вниз по сугробам — пятки вместе, носки врозь...

Река. Шумела река незамерзшими перекатами, дымила седым паром из промоин-талиц.

Куница повела носиком. Села, по-кошачьи обняв задние лапы хвостом. Тянула тонкую шелковую шейку. Язычок наружу, раскосые зеленые глазки горят. Любопытно, что тут человек делал?

Он приходил ловить рыбу. Пробивал пешней лунки, опускал под лед верши. Жег костер, кипятил чай и разговаривал с собакой.

Кунице пугающе напахивало текучей водой, головнями, золой. И привлекательно — чем-то вкусным.

Э, да ее опередили! Возле кострища суетился бурый зверек меньше куницы. Это норка вынюхивала объедки. Нашлась ей и рыба, полосатый окуnek, вытряхнутый из верши и втоптаный в снег.

Над промоинами клонились с берега черемухи. В сеть их сучьев скользнула куница. Прыжок — свалилась прямо перед норкой. Р-р-р! Спина дугой, до десен обнажены зубы.

Норке одно оставалось — поступиться находкой. Сзади полынья, бежать некуда. Но едва толстые, с виду неуклю-

жие, как валенки, куничьи лапы коснулись снега, норка с окунем в зубах исчезла в полынье.

Утопилась?

Нет. Норка — пловчиха и ныряльщица. Подо льдом недосыгаема, как куница в ее хвойнике. Вот и все.

* * *

Стужа, казалось, выжимала из хвон, сучьев, коры остатки влаги и тем порождала седую изморозь. Хмурой жутью замыкались таежные увалы.

Как вымер лес, ниоткуда не напахнет живым теплом.

По сугробам вверх-вниз, прыжок за прыжком летело пушистое оранжевое пятнышко, гонимое голодом.

Еловые гряды редели, спускались к болоту. Натощак зарыться где-нибудь в куче древесного хлама или отважиться на вылазку за пределами чащи? Пустой желудок — дурной советчик. Куница предпочла последнее.

Завьюженную гладь искрещивали наброды волков, лисьи тропы.

Не ее это, не куничьи угоды! Лазая по хилым болотным соснам, нет ли где белок, она утомилась, иззябла. Лапы выпачкала смолой. Наконец слух обласкало тонким, почти комариным писком. Мышь... Мышь! Сумет навьюжило, где валялась трухлявая валежина, ошетилившихся голыми сучьями. Нырнув в снег, куница лапкой выудила из-под валежины жирную мышь-полевку. Еще полевка шмыгнула рядом и тоже угодила в зубы.

Куница прилегла отдохнуть. Было тепло, пахло травмами, древесной гнилью. Дремалось.

А что там, на поверхности, не худо проверить. Осторожность — прежде всего. Тем легче было прийти к столь разумному выводу, что на животе стало посытнее. Две мышки, теплые комочки, — и пушистый солнечный блик сделался расчетливо осмотрительным: вот ведь от какой ничтожной малости иногда зависят благоразумные-то поступки!

Из снега высунулась острая смышленная мордочка с плавно закругленными ушами. Лоб, ресницы, усы как припудрены.

Туман зыбился. Плотный стылый туман. В седой мгле терялись одиночные болотные сосны.

Почудилось: с ближнего сугроба снялся клоч тумана, вспыхнули в нем пронзительные огни, — пухленькая мордочка живо спряталась.

У земли снег, падая на осоку, мхи, карликовые кустики багульника, голубики, долго хранит рыхлость. Свободно протачивалась в нем куница. Шла под снегом, держа направление на лес. Плавающее облако? Огни? Довольно искушать судьбу! Скорей в хвойник... скорей!

Тут над ее головой снег взметнулся, разлетелся во все стороны и чьи-то лапы бесцеремонно придавили пушистое пятнышко...

* * *

Невесть когда лисица заняла болото, за давностью лет полагая, что оно ее собственность. Допустим, кладовка. С полочками: там мыши, здесь куропатинка, отдельно заячье филе. Да, да, приходится потрудиться! Конечно! Но подкрасться к сонным куропаткам среди ночи — это так волнующе, так захватывает, а гонять зайцев — отличный моцион... Моцион, кто спорит, особенно для рыжей, если она не шажком, если всегда рысцой трусит, притом с миной задумчивой и озабоченной: уж эти вечные хлопоты... Поверьте, хвост расчесать недосуг! Болото большое, хоть разорвись, не поспеть всюду дать порядок. И не понимают меня, не ценят...

Ах, волки?

Не успела им заявить о своих правах. Упущение. она согласна.

Были, да ушли.

В другой раз она не преминет поставить волков на место!

Как вот сейчас она поставит на место ласку. Ишь, воровка, взялась шнырять в чужих кладовках! Есть мыши, но не ваши!

Очертя голову ринулась лиса в атаку. Рыжая — против беленького зверька-малютки...

Куницу она приняла за ласку, цепкого, пролазчивого вьюна, который, днюя и ночуя в снегах, ловил мышей с проворством для лисицы немислимым, чем вызывал у нее приступы черной зависти.

Как копать, лисицу не учить. Пущены лапы в ход. Все четыре. Она же за принципы! Что ей ласка? Принцип. вот

что дорого. Не тронь чужое, и все. В самом деле, разве это мода — шарить по чужим кладовкам? Если зло не пресечь, до того доживем, что порядочные хозяева хоть замки вещей на сугробы!

Надо быть кунницей, чтобы и застигнутой врасплох, избегнуть выверенной лисьей хватки. В вихрях инея, снежной пыли выметнулось пушистое солнечное пятнышко. Меня — лапами? Меня — зубами?

Сразу лисий пыл поостыл: вместо белой маленькой ласки — ошетиленная темная зверюга? Старость не радость, значит, впопыхах-то ласку с кунницей спутала... Подвел нюх, уши подвели!

И кунница вильнула хвостиком. Шерстка улеглась. Может, миром поладим? Мышки, в сущности, пустяк. Не будем мелочны... Впоследствии желто-оранжевое пятнышко со стыдом вспоминало, как, заискивая, вильнул хвостик: мир, ладно? Разойдемся без ссоры, ладно?

Заискивания лисицу возмутили. Что? Как прикажете понимать? Кто-то будет чистить мои... мои кладовки? Это мир?

Когда солнечное пятнышко вознамерилось улизнуть к соснам, путь к бегству был отрезан.

Закружилась карусель! Где лисица, где кунница — все перепуталось в клубках снежной пыли. Это походило на потасовку собаки с кошкой. Тявкала рыжая: врешь, поймаю! Гонялась, делала неожиданные прыжки. Но легко, как по полу, носились по снегу куничьи лапы, в то время как лису снег держал хуже. Она догоняла, набрасывалась с оскаленной пастью — ее зубы опережали другие зубы, ее когти опаздывали.

Не давалась, никак не давалась темная кусака. Кусака царапучая! У лисы засаднил нос, кровоточили лапы.

Догнать, схватить своего противника рыжая не могла. Не могла и отступить. Потерпеть поражение на собственном болоте? Ну, знаете ли... Да на измор возьму!

И верно, пушистое солнышко уже обнаруживало признаки усталости. Это воодушевило рыжую. Бодро кинулась она к куннице, чтобы теперь-то покончить с ней. Но в последнее мгновение, двухметровым прыжком солнечный блик отскочил в сторону и нырнул в снег, в старый лаз под валежину.

Не удастся ли отсидеться? Сердце стучало о ребра, не хватало дыхания...

Надо быть лисой, чтобы так стремительно раскопать жесткий снежный пласт и проникнуть к зверьку, обессиленно засевшему под гнилыми корневищами. Пушистый хвостик очутился перед искусанными лапами, перед оцарапанным носом, пылавшим жадной мщенья.

Конеч... конец! Заглохнет хвойник без пушистого солнечного пятнышка, лунными ночами летавшего от дерева к дереву, без шелковых лапок, умевших нежно и плавно прикоснуться на бегу к снежной нависи, так что и блестящие иголки не падали вниз. Конеч... конец!

Но что это? Вместо шелковых пушинок перед лапами тисы, перед ее пастью — оскаленные зубы! Острые зубы! Ловка, увертлива куница, за себя еще постоит! Терять ей было нечего: из последних сил впилась в мокрый, чуткий лисий нос, предвкушавший победу. Свету белого от боли лиса не взвидела!

Она пятилась задом. Она скулила и визжала, тявкала: ай-ай! Ошалело молотила толстым хвостом куда попало. Ее шатало сослепу. Бедные мои глаза... Выцарапает! Выцарапает! Мотнула лиса мордой, отшвырнула кусаку... Нос! Бедный нос! Ой ноет, ой, саднит!

Миг — и стремглав взлетел солнечный блик на ближнюю сосну-сухостойку.

Что? Не понравилось? Куница возбужденно стрекотала. Не могла успокоиться. Торжествовала и дразнилась. Попало, рыжая? Попало, жадинка? Ну-ка достань, достань отсюда!

Поодаль с большого сугроба бесшумно снялось летучее облако.

Удар в темя, оглушительный удар: болтаясь тряпочкой в кривых когтях, куница взмыла, оторвавшись от смолотой голой ветви.

* * *

Осенью, кочуя из Заполярья, сова-белянка обосновалась на таежном болоте. Оно ей напоминало тундру ровно настолько, чтобы сильнее проникнуться вынужденной разлукой и питать тоску.

Где ты, грохот прибоя о скалы? Где крик чаек и заунывные вопли гагар с залива?

Не услышишь песню ненца, погоняющего упряжку оленей, песню гортанную, протяжную и нескончаемую, как тундра. Не увидишь сопок в зарослях карликовой ивы и каменистых оползнях... Чужбина постылая!

Местные совы — они ли совы? Нет, как нет белого, изукрашенного крапинами, черными точками ослепительного наряда, как у полярных. Ржавь, белесые полосы, нелепые разводы... У филина и пучки перьев на круглой башке!

До филина сова-белянка, однако, снисходила скрепя сердце: он мог померяться с ней мощью когтистых лап и крючковатого клюва. Зато при свете дня филин не охотник. Сова же белянка днем и ночью на промысле. Стужа ей тоже не помеха, при ее пухе и пере. Скважины ноздрей совы и то прикрыты: нечего бояться простуды.

Куницу под снегом она слышала раньше лисы. Пугнула: ага, прячешься, значит, я сильнее...

Терпеливо караулила сова.

О, лиса туда же — затеяла охоту. Посмотрим, чья возьмет! В тундре белянке не раз случалось обкрадывать песцов.

Драка у них, у того зверька и лисы? Прекрасно! Ну, ну же... Больше ран! Кто ослабнет, тот будет мой. Смелее на тиск, зубы в ход. Ну... ну же!

Куница вывернулась, сдается, из самой пасти насевшей лисы и вскинулась на сосну.

Совам неведомы промахи.

Удар клювом! Подхватив обмякшего зверька, белянка полетела в противоположный угол болота.

Скрестились пути: подснежный — куницы, и воздушный — заполярной гостыи...

Бесформенным клубком, облаком седого тумана белая сова парила на подбитых пухом крыльях.

Куница очнулась, ее мотало, обвисала тряпочкой. В голове шум, из носа кровь. Мимо, мимо — кусты, чахлые соны, сугробы.

Седая мгла. Звезды. Звезды — осколками битого льда. Холодные, жгучие звезды... Мимо, мимо!

Планируя кругами, белянка выискивала место, где бы ей расклевать добычу.

Зверек дернулся, но хитро устроены лапы совы: чем отчаянней вырывается добыча, тем неумолимей они смыкаются, точно клещи, и душат, колют когтями насквозь.

Маленькое сердечко стучало часто-часто. Куница задыхалась. Извернувшись так, что, казалось, шубка, шелковая, холёная шубка отстанет от тела, она нашла-таки сил дотянуться до совы.

Перья, пух закачались, невесомо кружа в тумане.

Прянув выше сосен, белянка разжала когти. Пока валится до земли этот темный зверек, она в броске с подбранными крыльями сумеет ударить его в воздухе. Это умно и безопасно. Того вернее сбросить бы его на камни, разбить об острые выступы скал.

Но где вы, скалы? Где вы, сопки?

Сова распустила когти: падай... падай же!

Не тут-то было: клещи ослабли — куница надела на врага. Рвала, кусала. Шипела, урчала остервенело. Белые перья, пух, туча пуха — не подушка ли распорота, пущена на ветер?

Скоротечны воздушные бои.

С перекушенной шеей сова кувыркком повалилась вниз.

* * *

Было ясно, солнечно. На елках кричали клесты. Старый высокоствольный хвойник полнился смолистым запахом.

Пятки вместе, носки врозь — бодрым галопом скакала куница под пологом чащи. После схватки с совой-белянкой: зверек долго перемогался, прячась в буреломе, пока рана на темени затянулась и рубец оброс светлыми волосками.

Миновала пора холодов, пришла удача в охотничьи вылазки. Наверстывая недели голода, зверек теперь выходил и днем.

Пятки вместе, носки врозь — мелькнуло по прогалине и потерялось за серыми стволами, за хвоей пушистое солнечное пятнышко.

Спустя некоторое время куница возвращалась обратно.

Шла мелкими шажками, неся в зубах рябчика: схвачена птица прямо на дереве! Тяжела ноша, очень-очень приятно тяжела!

Куница положила рябчика и вытянула шею: вон та осина, где гриб-трутовик. Звери памятливы, вспомнились пронзительный лай, выстрелы, свист дробы по сучьям и снежный обвал — все то, с чего началась злополучная ночь. Ночь морозного тумана и треска деревьев от стужи.

Взяв в зубы ношу, куница шагом продолжала путь. Семенили широкие, со ступни опущенные мехом лапки.

Позади раздался шорох. Плавные прыжки тоже ловких, тоже с подошв меховых лапок. Пятки вместе, носки врозь... пятки вместе...

Куница обернулась. Спину выгнула дугой. Эй, кто там? Не насыкайся, держись около! У-ух, полетят клочки по закоулочкам!

Но вздыбленная шерсть улеглась, шелковый хвост махнул ласково...

Гордилось шубкой солнечное пятнышко: красивей меха нет на тыщу верст кругом и быть не может! Мой мир, весь мой, куда взгляд падет: деревья — чтобы прыгать и ловить добычу; хвоя, дупла — чтобы укрываться в метели и стужу и сладко спать; ночь с луной и звездами — для охоты... Мое, все-все мое!

Вильнул хвостик с ласковой предупредительностью. Есть... Есть на свете шубка нежней да шелковой. Есть восхитительные грациозные лапки! Свели они с ума героя, победителя совы и лисы, в одну минуту. В ту минуту, когда подбегала догонявшая его куничка, бойко перебирая лапами под хвойной нависью.

Она была такая стройная, юная куничка, с такими наивными глазками и смешливой и умненькой мордочкой, что герой обмер и дух у него занялся.

Не дойдя двух шагов до него, куничка остановилась. Поджав переднюю лапу, в застенчивости потупила головку.

Небрежно герой поднял рябчика: лавливали мы всяких! Бывал кой-кто в зубах! Гордо выступая, он шагнул и положил добычу к восхитительной лапке. К жеманно поджатой лапке с блестящими, как отполированными, коготками.

А где-то в хвойных отрогах лаяла собака, и голос ее приближался...



«Новичок» — прозвище первого дня весны. Дано за то, что вплоть до XV века новый год на Русь являлся под звон капель, в песнях веснянках подснежных ручьев.

Земля март привлекает проталинами, небо — кучевыми облаками.

В полях — пожар. Слепящим полымем охвачены, горят сугробы. Горят, не сгорая.

Воробей в снегу выкупался. Распушил перышки, трещит-чирикает. Счастлив безмерно: зима прошла и, представьте, жив! Потасил воробей соломинку — закладывать гнездо.

По берлогам трущобным у медведей-космачей потягушеньки. Один рот и тот надвое дерет. «А-ах!» — зевают медведи и потягиваются. Близится время покидать берлоги.

Волки вернулись к старым логовищам из разбойных скитаний. Ночами дикий вой будоражит окрестности: «У-а... у-у!» Неестественно громадным кажется волк, когда, взметнувшись на высокий угор, запрокидывает лобастую с прижатыми ушами морду и шлет заунывные вопли в низкое, тронутое влажной испариной небо...

Лисы — кто бы мог подумать? — в танцы ударились. На задних лапках парами, все парами такие па выделяются, плавные, медленно-важные, — фокстрот, да и только, хвосты наотмашь!

Ольха развесила сережки.

Лилово-бурые, неказистые, мотает их ветер, а и цены сережкам нет. Потому что ольха в лес весну приводит.

Пуховые «барашки» выпростались на вербах. Белеют, как заячьи хвостики.

Обогретая, затаила снежная навись, где солнцем достало. Но внизу — синий холод, тень. Падет капля на хвою, мгном застынет. Струится капель, намерзают сосульки, и хвойные лапы стали, как люстры. В полдень зажигаются они, гонят тени из темных ельников...

Март — проба голосов у зимовщиков: овсянок, поползней, корольков, пищух, щеглов, крапивников. Поначалу птички конфузливо сбиваются с ладу, путают зимние наигрыши с весенними. Ну что ж, простительно: первую песенку зардевшись поют!

Молода, не окрепла весна. И так бывает, что в марте теплом даже не пахнет. Дней пасмурных убавилось, да о мартовском солнце неспроста поговорка: «Светит, а Авдотья смотрит». В марте не тает: сколько снега с полей, с дорог уберет, того больше сверху добавит.

Март — «позимье». Постоянством не отличается. То назад, к зиме, попятится — бушует пурга, ветрище ледяной лвет провода; то к весне шажок ступит — оттепели, лужи по дорогам, грачиный переполох с берез...

В старину водился обычай в марте кликать весну. Сходилась молодежь за околицу. Ребятишки лезли на заборы, на амбары. Хором кричали:

Весна-красна!
Что принесла?
Теплое солнышко,
Красное летечко...

Пора мастерить птичьи домики. Выставляют их ребята, по-своему сегодня весну зовут-зывают. Место выбрано подходящее, квартиры оборудованы на разные птичьи вкусы, и селятся близ жилья человека, помимо скворцов, горны-



Мел и сыпал снег, а
следы пося по просеке
занести не смог...

хвостки, мухоловки, стрижи — добром за добро целое лето платят. Но скворцы — без них и весна не весна! Воистину народная птичка! Есть тонкие ценители пения скворцов, умеют разложить его на колена: полукурлант, ямщикий свист, ржанье, червякова дудка.

Свищет скворец у тесовых своих хвором, весну подгоняет: ну-ка, поторапливайся, заждались тебя!



Самое-самое-самое

Март — самые глубокие сугробы. На льду Чар-озера в 1966 году лежал снег более чем метровой толщины. Что же в лесу тогда было — жаль, никто не измерил!

Однако март — это и первые проталины. На полях под Вологдой они появляются к середине марта. Между тем в 1925 году земля из-под снега показалась 12 февраля, в 1910 году — только 13 апреля.

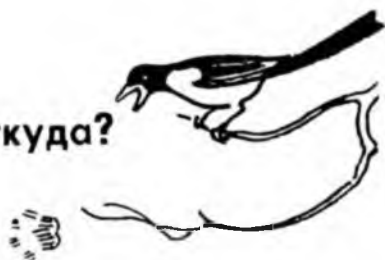
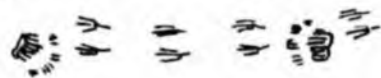
Грач — вестник весны. Когда их вологжане всего раньше видели? 3 марта 1920 года. В 1941 году грачей не было до 8 апреля.

«Ребята, ребята, скворцы прилетели!»... Самый ранний прилет скворушек был в 1967 году — 10 марта, самый поздний — 15 апреля — в 1955 году.



А вот и сам лось!

Кто, где? Куда и откуда?



КУНИЦА — солнце запригревало, обузой становятся пышные меха! Мама-куничка заранее присматривает дупло для будущей детской — чтобы и теплое, надежное было и с вентиляцией. Вообще у кунц адрес один круглый год: высокоствольные леса-хвойники. Под Вологодой кунцы постоянны... даже неподалеку от аэродрома.

РОСОМАХА — детеныши в гнезде. Логовище — яма под вывороченным пнем, кое-как устланная мхом, сухой травяной веточью и скрытая от снега и дождя хвойной нависью — в труднодоступных дебрях глуши.

РЫСЬ — все еще бездомница. Весной рысь неважный ходок: талый снег прилипает к подошвам лап. Порой по следам видно, как в лапти обула таежная пятнистая кошка!

КОСУЛЯ — начали заходить эти изящные козочки в уголья, соседние с Ярославской, Новгородской и Ленинградской областями. В наст и при глубоком снеге им тяжело передвигаться, косули нуждаются в подкормке.

ОНДАТРА — трудные дни переживает, пока на водоемах не появятся забереги. Всю траву подъела, голод стучится в хатки из камыша, в береговые норы. Родина ондатры — Северная Америка. Завезен к нам ценный пушной зверек в 20-е годы. Встреча-

ется широко. Под Вологодой, на пример, на реке Тошне обилие нор, густые поселения. Ондатр в области насчитывается около 65000.

ГЛУХАРЬ — вылетает из хвойников к болотам на проталины. Старые мошники-бородачи нетнет и, волоча распущенные крылья, затопчутся на снегу, издавая шелканье: «ток... т-ток!» Репетируют, как в апреле-мае загуляют!

ТЕТЕРЕВ — у косачей набухают красные брови, шея и грудь отливают синим металлическим блеском. Сидя на деревьях, петухи упражняются в весенних песнях: «ур-ур-ру... круты перья оборву... оборву!»

УТКА. КРЯКВА — передовые стайки в раннюю дружную весну достигают Вологодчины.

ЧИБИС — в южных районах области в конце месяца одиночки на проталинах в полях. Окликают прохожих: «Чи-вы? Чи-вы?»

СИНИЦЫ — пора в лес, зимней прописки близ жилья человека срок вышел!

ОВСЯНКА — перышки на грудке и шее желтые, весенние, а держится пока у кладей соломы да амбаров, не доверяет марту-позимью.

СТЕРЛЯДЬ — нередко на исходе марта по Сухоне скапливается к устьям ключей, родников,

ям, где у берегов промыло тапицы-полыньи. Все-таки душно, хотя свежей водицы хлебнуть!

БАБОЧКА-КРАПИВНИЦА — первый вылет на пригрев, на стень изб.

АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ

На озимь повадился русак. Ям нарыл в снегу. Из ночи в ночь бегал. Воображаю, бравый и бодрый русачина: в белых усах, по спине бурый ремень, кучерявый, как мерлушка.

Издали мне показалось: в одной заячьей ямке проблемстело стекло. Синее стеклышко. Прозрачно просинело оно, напомнив, как любят девочки собирать всякие такие стекляшки. Непременно разноцветные. Бренчит у них по фартукам. Помню, я удивлялся: на что вам дрянь сдалась? Тащат ее в карманы, друг перед дружкой хвастаются, обмен идет. Подумаешь, сокровища! Я, помню, дразнил их, из рук стекляшки вышибал: раз, а стеклышко звяк — и вдребезги.

Сейчас-то не стал бы. Зимой глянуть сквозь зеленое стеклышко — на тебе, лето. Зеленое сияющее лето в снегах! Разве не чудо! А желтое стеклышко дарит осень. Пеструю, цветистую. Того удивительней какое-нибудь алое или фиолетовое. Смотришь в алое, скажем, стекло, и перед тобой не снег или березы, а чужая планета: с алыми горами, знойным небом, диковинными черноокрасными деревьями. И немножко жутко делается, дыхание в груди замирает: надо же, вся земля алая, солнце пылает багряно и деревья черные, как обугленные!

Подошел я к русаковой копанке, наклонился. А в снегу-то не стеклышко — цветок. Заяц фиалку выскреб лапами. Мерзлую, обледенелую. Синюю-синюю с желтым ярким зрачком.

Полевой фиалке в обычай осенью уходить под снег зеленой, с цветами и бутонами. Коченеет под сугробами, глазом не моргнет, как стужа ни лютуй. Терпеливо ждет весны и тепла. Вроде спит. Может, сны ей снятся синие-синие? Такие же, каким виделся мир девочкам в их стекляшки?

Скинув рукавицу, я поднял цветок за ломкий, осыпанный искрами инея стебель. Фиалку зовут «анютины глазки», и я был аккуратен. Я держал хрупкий стебелек бережно. И бережно на него подышал. Хотел обогреть, вот и все.

Но синий-синий глазок закрылся. Я успел чего-то такое загадать, а глазок завял, стебель поник. Спасая положение, я дохнул горячей, и от фиалки осталась одна липкая грязь.

Я морщился, вытирая пальцы. Фу ты... глазки! Фиалка! Сорняк, и больше ничего!

Однако почему-то не утешало, что фиалка эта — сорняк, больше ничего.

Под сугробами зиму вековать в ожидании своего часа. В снегах мерзнуть и глазом не моргнуть, и в чужие руки не дасться, — вот так «анютины глазки»!

ГРЕНАДЕРКИ

«Гренадеры», — произнесешь мысленно и вспомнишь о суворовских чудо-богатырях, одолевших в Альпах неприступные кручи Сен-Готарда, о Бородинском поле и Наполеоне, напрасно прождавшем на Поклонной горе ключей от Москвы. Отборные, первые в бою солдаты, мундиры в медалях и крестах, высокие шапки-кивера с орлами, усачи-лихие, молодец к молодцу — вот что такое гренадеры. Уже в самих звуках этого слова «гренадеры» чудятся громовые раскаты орудийной канонады, рев картечи и грозное урагштыковых атак. И зазывная барабанная дробь, и треск знамен на дымном ветру... И еще что-то забытое, с привкусом архивной пыли — ведь давным-давно все историей стало!

А гренадерки — синички.

Не синицы, именно синички.

Видали их?

Ну да, хохол из перышек на головке и писклявые, то-ненькие выкрики:

— Пюр-ре, пюр-ре!

Где уж им взять воинственности-то: по нижним сучьям копошатся, повыше забраться силенок нет, и громче крикнуть их не хватает. Серенькие. Поневоле скромницы. Один хохолок торчмя, точно колпак какой. Из всех синиц им и отличаются гренадерки. Да он тоже не в прок: придает пискуньям-невеличкам вид легкомысленный, комичный. Вчуже за них неловко, когда на ветках кувыркаются, мир лесной потешают — хвост вверх, голова вниз, и на голове шутовской этот колпак. Белые щеки будто в муке, сажен подрисованы скобки-морщины... Ни дать, ни взять опять же

шутовская, клоунская маска! А писк тоненький, комариный, писк-то прибавьте:

— Пюре, пюре!

...Зима выстояла сиротская: морозам бы трещать, когда с потока текло, оттепели расквашивали дороги.

В свою очередь весна не радовала. Сейчас бы таять, солнышку на сосульках играть, но — ни сосуллек, ни солнца. Мгла. Тусклая, седая. Пухлый иней на деревьях. Провода провисают, перегруженные выступившей на них изморозью.

Стужа нажала, какой нынче не случилось. Доподлинно правда, что в марте спереди и сзади зима!

Снегу, снегу-то...

Ночью заяц по-за лесной околицей бродил: пальцы на лапах растопыривал-шарашил, а ведь без толку — то-то, не-бось, вяз в сугробах, толстый он нос, губы тройные!

Лиса с проезжей дороги свернула, шаг-другой по целине — и назад. Убродно! От безделья покатала конский мерзлый катыш, на задних лапах посидела. Что делать? Затрусила рысцей по тропке к гумнам...

Пасмурная стынь. Снежные залежи на сучьях. Сугробы непробудные.

И вдруг из за ометов соломы:

— Пюре! Пюре!

Вылетела стайка синиц. Низко-низко над полем стелют. На изгороди отдохнули. Дальше понеслись:

— Пюре! Пюре!

Ох вы, малышки, заготовлено ли для вас в лесу пюре!

Снег там, мороз, бескормица. Оставайтесь, переждите хоть эти студеные дни!

Улетели. Скрылись в лесу.

Первые, самые-самые. За ними другие птички полетят, из тех, что зиму возле жилья проводят. И синицы, и снегирь, и чечетки, и овсянки — все остальные. Но уже следом гренадерок, по проложенной дороге, и им будет полегче, как всегда легче идти по дороге, кем-то проторенной до тебя...

В полдень небо очистилось от хмари. С желобов избяных стукоток пошел: чик-чок! чик-чок! Капель застучала, наледь с оконных стекол чистой влагой стекла. Светлынь, солнце.

Так, может быть, гренадерки весну в лесу разбудили, в деревню послали? Голосками писклявыми, комариными подняли, с места стронули?

Серенькие птички. Синички-невелички, у которых на головке перышки торчком. Торчком, торчком, как кизер гренадерский!

ПАРИКМАХЕРЫ

Оседают сугробы. Снег оплавлен солнцем, не держит ни зверя, ни птицу. Вытаивают на нем прутики, хвоинки иглопада, семена елей... Серым-серый вешний снег, в налете копоты, рыхлый и влажный.

Единственно мышей он и выдерживает: сколько стежек наторили хвостатые к выскирю на бугре — трухлявому пню! Вывернуло когда-то с корнем тут матерую елку, ствол ее сгнил, поволокли его зеленые мхи. А пень-выскирь остался, таращит узловатые корневища. Поднялся вокруг пня хоровод пушистых сосенок.

И туда-то и сбегаются мышинные строчки-следочки.

Не клад ли открылся мышам под выскирем? Баба-яга его закопала, а мышки пронюхали и потихоньку-помаленьку тянут да тянут к себе в норки сокровища?

Нет, не клад у мышек возле пня. Парикмахерскую они там оборудовали!.. На снегу буреют жесткие волосы. Неаккуратно работают лесные парикмахеры. Хотя клиент у них — ого, хозяин суземья собственной персоной!

Медведь в берлоге под выскирем последние сны досматривает, ворочаясь с боку на бок: вставать ли, погодить ли? А мышки стригут его да стригут. Не спрашивают: вас не беспокоит? Не дергает? Который волосок с шубы они состригут зубками, который выдернут, раз медведь линяет, шуба у него поползла.

Носят мыши медвежьей шерсть себе в норы, мышатам на постели.

Раз мыши норки утепляют, то вернутся холода. Да и медведь не торопится покинуть берлогу — также признак, что зима постоит, что нынешняя оттепель закончится стужей.



ПРЕЛЬ — КРАСНАЯ ГОРКА



Заря, умытая снегами, разгорелась румяно, и отсвет ее самолет вознес высоко на крыльях — в ту сиреневую мглу, где истончились и померкли звезды и откуда напахивало утренней свежестью. Мотор порождал в чащах гулкое эхо. Лоси лынули к елкам и водили ушами. Рысь, пружиня лапами, спрыгнула с сосны, и светлеющий сумрак поглотил серого пятнистого зверя...

На границе делянок — огромных рощистей, исполосованных вдоль и поперек тракторными волоками, — самолет снизился. Постлалось за ним дымчатое облако. Миллионы семян, вихрясь в потоках, поднятых винтом, поплыли вниз. Делая заход за заходом в делянки, самолет как бы пахал воздух. Пахал и сеял новые боры на месте вырубленных.

Сев лесов — апрельская примета.

А день привел с собой белые, курчавые, как стружка, завитые облака, донес с полей переборы жаворонков.

На каждой проталине — по жаворонку! То протяжно, то скороговоркой лукаво распевают: «Лечу на небо... на-а не-е-ебо, на-не-бо... ухвачу бога за бороду, за бороду, за бороду, а он меня кием, ки-и-ем, ки-и-ем!»



И тащит грач первую
веточку в гнездо..

Журавль на болоте ликует, пеходит криками:
«Жи-изнь... жи-изнь!»

Лужу прогрело. Спросонья моргает лягушка, выставив
лаковую спину под солнце.

Зайчонок, уползший в тень сухого прошлогоднего бурьяна, подрагивает носом — бархатная шерстка, настороженные ушки. Настовичок — редкость в северных лесах-суземьях. Из десяти зайчих разве одна приносит зайчат по снегу.

Апрель — весна «необлыжная», то есть необманная.

Но знаете:

— Перзое апреля — никому не верят!

Испокон веков в начале месяца, хотя он «необлыжный», все от мала до велика по городам, по деревням изошряются в розыгрышах, весело насмешничают над друзьями, добрыми знакомыми. «Первого апреля не соврать, так когда потом и время выбрать?»

В неписаных календарях старины древней значился апрель на Руси как «пролетень», у чехов — «дубень», у сербов — «налетень».

Но, пожалуй, тень первого апреля ложилась и на последующие дни. Были о том сложены поговорки: «Апрель сидит да дует, тепло сулит, а ты гляди, что-то еще будет». «Апрель, он под май подведет».

7 апреля — день «зимобор». Пусть неуступчива зима, сдает позиции с боем, все равно ей не устоять перед светом, перед солнцем!

Трогаются рыба с зимних становищ. В водополь тесны рекам берега. Озера затопляют низины. Под дождями пали оковы ледовые. Дождик и апрельским лесным снегам как воску — огонь, как соли — вода.

Птиц, птиц-то — гомон, крикание, свисты по берегам! Рано прилетевший чибис, хлопая крыльями, едва успевает окликать стаи: «Чи вы?» «Чи вы?» Где бы зиму-зимушку ни проводили, теперь все наши — пеночки и дрозды, лебеди и выси, кулики и утки.

Чертят небо стаи: журавлиные — треугольником, лебединые, гусиные — тоже треугольником, клином или цепочкой. мелких птиц — густой россышью.

Апрель — «красная горка». Солнце с нее уже в лето катится. Катится под гуденье пчел, покинувших «кельи восковые», под гул тракторов, вышедших на пахоту...



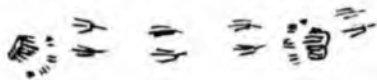
Весной, как хлебоборб-землепашец, жаворонок погожим днем дорожит. Самую раннюю его песню звончатую, полей побудку, под Вологдой слышали 23 марта 1935 года. В 1902 году жаворонок прилетел всего позже — только 2 мая.

Ледоход на реке Вологде — когда как: в 1816 и 1937 годах река тронулась 29 марта (Сухона у В. Устюга 2 апреля), а в 1867 году лед стоял без движения до 16 мая. В среднем же, за семьдесят лет наблюдений, р. Вологда вскрывается приблизительно 19 апреля.

Самый высокий паводок на Сухоне был в 1953 году: у Тотмы 5 апреля река поднялась на восемь с половиной метров!

Озимь зеленеет, весть подают, что земля прогрелась. В 1953 году озимь зазеленела очень рано — 11 апреля, в 1940 году с сильным запозданием — лишь 5 мая.

Кто, где? Куда и откуда?



МЕДВЕДЬ — отощавшие и исхудавшие поднимаются с берлог медведи: первыми старые космачи, позднее всех медведицы с малыми медвежатами. Ищут медведи клюкву, раскапывают муравейники. На пригреве по берегам глухих рек «катают коври»: отдирают пластами дерн, добываясь до кореньев, насекомых и червяков. С голодухи преследуют лосей в отзички по насту, позднее домашний скот на выпасах.

ВОЛК — в логове волчата. Селится угрюмый бирюк уединенно, в непролазных зарослях. Волчица долгое время не покидает гнезда, прокормом обеспечивает матерый волк, из осторожности промышляющий вдали от логова. В выводке 3—6, реже до 8 волчат.

КРОТ — земля оттаяла — взялся за работу. На лугах, полянах, в лиственном лесу роет новые подземные галереи, ремонтирует обрушившиеся старые. Высока плотность зверьков в Междуречье, в Грязовецком, в Вологодском районах.

БЕЛКА — в южных районах области выкармливает ранний приплод. Сразу приносит 3-9 бельчат. Севернее — гнезда мастерит из прутьев и мха. Повсеместно у белок лиська. Кормятся они шишками с земли, так как семена с елей и сосен осыпаются.

РЯБЧИК — бегаёт по насту, подбирая семена берез, елей, ольхи.

Раскапывает ягодные кочки брусничкой. Из года в год, как правило, одна и та же пара птиц занимает определенный участок в ельнике, в смешанном с примесью хвойных пород редком лесу.

ЛЕБЕДЬ — на безбрежных разливах Присухонской низины, в Рыбинском и Череповецком морях и других обширных водоемах. Время остановок перед отлетом в Заполярье иногда растягивается на долгие недели. Дивное зрелище — лебеди! Сквозные птицы! Раз увидев, не забудешь!

ГУСЬ — тоже ждет «летней» погоды. Посещает освободившиеся от снега озимы.

КРЯКВА, ЧИРОК, ЧЕРНЕТЬ, МОРЯНКА и другие утки — от Грязовца до В. Устюга — всюду валовой пролет с западных атлантических и южных каспийских, средиземноморских зимовок.

ГОГОЛИ — нужны им дупла, и к прилету гоголей егерями выставляются по берегам таежных озер и рек искусственные гнезда: все равно что скворечники возле дома!

ЖУРАВЛЬ — по топким клюквенным болотам на зорях трубят столь язычно, оповещая, что он дома, — адрес не надо искать! А плясок, хороводов у журавлей весной... Такие колена выкидывают — умора!

ЗАРЯНКА—ночью прилетела, с дороги не отдохнув, спозаранок запела!

ЩУКА — выходит на разливы метать икру

ОКУНЬ — вымечет свою икру ототится за чужой.

СНЕТОК — на Белом озере нерест в устьях рек Ковжа и Кема при температуре воды 8-9. Хорошо прижился снеток в Ры-

бинском море. Ценная промысловая рыба — не смотрите, что из себя чуть ли не с мизинец.

УЖ, ГАДЮКА — сонные греются на проталинах на солнце.

ШМЕЛЬ — весной 1960 года например, шмели появились под селом Жерноково, Грязовецкого района, еще 17 апреля.

КОМАРЫ-ТОЛКУНЧИКИ — толкуются, тепло ворожат!



Знал бы зяблик, как его люди зовут, обиделся бы наверное: «На ветках снег, а я пою хоть бы что! Какой же я «зяблик!»

ПРОТАЛИНКА

Что за птица, если на деревья не садится? Если жарким летом рыжая, если к зиме линяет, как заяц? Да и ножки у нее зимой, ни дать ни взять, лапы заячьи. Кормится она прутьями. Голос вроде бы собачий: заорет, бывает, осенью в сумерках: «Гав-гав... р-р-р!» — озноб подерет по коже от этого вопля. Ну, оборотень завелся, не иначе! Эх он надрыгается: «Куау... куау... р-р-р!»

Все-таки что это за птица — на заячьих лапках? Если в зубу не пища — опилки?..

Алые кусты тальника далеко отбрасывают серебряные тени. С белесого неба редко и беззвучно сыплются иглистые ледяные звезды. От закатного солнца бронзовеют стволы сосен и их узловатые сучья.

Ниже закатное солнце, лютей мороз.

Возникло над болотом белое облако, низко-низко пронеслось возле опушки леса и в треске крыльев снежными комьями рассыпалось вдоль поросли ивняка.

Птицы тотчас принялись за кормежку, захрустели прутьи!

Около часа пировала стая в таловых кустах: шум, треск ломаемых клювами веток не умолкал ни на мгновение и был слышен издалека. Затем стая поднялась неожиданно, как и налетела. Сгрудилось над потемневшей равниной болота крылатое облако и... исчезло! С лету птицы попадали вниз, пропали из глаз.

Поиграй-ка вот с ними в прятки, с белыми куропатками!

Они ведь, белые куропатки, на деревья, почитай, никогда не садятся. Они питаются веточками, словно зайцы. И белые сами, как зимние зайцы. У них ножки с осени густо-густо обрастают пухом и пером — делаются точь-в-точь заячьи. Это чтобы по снегу бродить не проваливаясь.

Весной, едва кочки на болоте обнажатся, запестреют проталины с рыжеватым мхом, с жестким багульником и седым белоусом, не преминет на перемены отозваться белая куропатка. На ее снежном оперении тоже появятся первые проталинки. Сначала на шее, на головке с бугорками бровей оботрутса, выпадут перья-снежинки, их заменят рыже-красные, аккуратнo под цвет вытаявших мхов и листьев ржавых болотных трав.

Поэтому про себя я и зову белых куропаток проталинками.

Когда-то большие стаи водились их, теперь реже встречаются. Охота на белых куропаток закрыта, да что браконьерам хищникам запреты и законы! Стреляют куропаток весной, давят собаками летом. Труда не надо — убить куропатку на гнезде или при выводке. Никакой птице не сравниться с проталинкой в привязанности к детям. Самоотверженный куропадч-самец собою скорее пожертвует, но не допустит урона для семьи. Яро кидается он на собаку, на лису, хлопает крыльями, бьется в траве, влечет и манит за собой: «Меня хватайте, не трогайте гнезда!»

Случается, отводит беду.

Случается, попадает под выстрел...

И реже, все реже встречи с куропатками-проталинками.

А одна встреча оставила во мне неизгладимый след.

Я любил это озеро — за мхами, болотами, за топкими лесами — сограми. Оно, считайте, на окраине города, и по ночам зарево огней светлело в той стороне, как заря, и поднявшиеся с городского аэродрома самолеты ревели над озером моторами, не успев убрать шасси. По болоту к озеру проложены мостки — топи же вокруг! Утомительна ходьба по мосткам, идешь глаз с них не спуская. Отвлекаясь, задумался о чем-нибудь — готово, оступился, ухнул в тину, в грязь выше колен!

Раз иду я, гляжу под ноги. И встречаю из-под мостков, этих трухлявых бревен на подкладках, чей-то испуганный и восторженное слово, умоляющий взгляд. Взгляд карих блестящих птичьих глаз.

Немало народу пользовалось летом мостками, так как другой дороги к озеру нет. Здесь, под мостками, устроилась проталинка. Что она переживала, когда над головой тяжело бухали рыбацкие бродни-бахилы?

Я прошел, не посмел остановиться. Потому что немножко сведущ в лесных обычаях. Побывайте в глуши, в нетронутых чащах, и вы убедитесь, до чего слабо заселены они. — как ни странно покажется, дичь теснится к полям, к лугам, к жиденьким лесам близ жилья человека. Одно, что прокормиться там легче, около полей, другое и основное — то, что возле человеческого жилья меньше хищников: ястребов, волков, лисиц.

Поразмыслишь, наприснится вывод: не одна смелость обусловила, что проталинка завела гнездо буквально на следу человека.

На обратном пути с рыбалки я нашел знакомое гнездовье.

Оно было уже нежилое...

Под трухлявыми мостками увидел я десяток остывших крапчатых яичек и птенца-пуховика. Ползали муравьи. Птенец был мертв. Муравьи выели ему глаза...

На мху у мостков валялась стреляная картонная гильза...

ДЫХАНИЕ

Прилетная утка крикнула — берега звякнули.

Грачи на березах. Галдят, гомонят. Идет у них стройка. Сорока в своем доме среди ветвей. Дом, дом! Основание гнезда глиной обмазано: чем, скажите, не фундамент? Сверху прутья набросаны, — чем не крыша? Странно видеть стрекотунью и балаболку, когда неподвижно цепенеет на яйцах и хвост поджат. Она-то, сорока, пролаза, вертячка — и вот зам, смирененькая домоседка! Для отвода чужих глаз вблизи два-три пустых гнезда. Висят они в сучьях на виду, а жилье укрыто, спрятано. Поди его, угляди!

У черногого ворона птенцы вывелись...

Но зима еще не сдалась: снегами лежит по лесам. Серыми снегами — в хвое иглопадной, в мусоре и хламе. Алые на восходе, золотые под солнцем снега в полях стояли, ручьями растеклись.

Лежат снега серые, лесные, заступают путь весне. Подгоплены они, сырые, подернутые коркой крепкого наста.

Облачается весна синими небесами, подпоясывается белыми облаками, застегивается звездами — в чашу собирается.

Да что-то долги ее сборы...

Ближе к полдню распалилось солнце. Наст отмяк. В телях — снег. На припеке — снег. Блестит, глазам больно. Тлеет снег, в себя вбирает хвоинки, колючку с деревьев, крошки мха и прутья.

Вот прямо в сугробе чернеет листок. Невесть откуда весенний залетел. Накалило солнцем, прожег он сугроб насквозь.

Прошел бы я мимо, но увидел: из сугроба пар идет.

Кто там дышит?

Ну-ка, ну-ка, посмотрим!

Парок нежный, прозрачный. Вблизи не заметишь, виден издали — на фоне черных елей.

Земля и в лесу проснулась, ее это теплое дыхание...

ГЛУХАРИНЫЕ НОЧИ

Приболотье. Пни, бурелом в снегу. Елочки высовывают колючие мутовки из сувоев-суметов, тянутся, на цыпочках подглядывают, как тени красных, задубевших на стуже сосен теснят прогалину. Холод в тенях неизбывный, только солнечным полднем, когда тени бледнеют и сжимаются, обогретый воздух сквозит влажной испариной.

Выставив верхние мутовки, день за днем томятся в сугробах елочки, зеленые ежи. Смотрят. Ждут чего-то. Надеются. Потому что упругие белые облака текут по небу; потому что, как роса, засветлели барашки на вербах, а по ночам оседает наст — с гулом, подобным отдаленному грому.

И как-то раз погожим утром низко над болотными соснами пронеслось что-то темное. Похожее на шар. Темный, он со свистом распорол воздух, пролетев над соснами, и скатился на прогалину. Ударился оземь — снежная пыль столбом.

Ударился шар о наст, грохоча крыльями и превратился в громадную птицу. Черную птицу на белом снегу. В резких тенях снег, изломанных, как зигзаги молний. Синих морозных молний.

Минуто-другую глухарь хранил неподвижность. Издали: птица не птица, так себе — черный обугленный пень...

Потом он прошелся — бородатый, важный. Поднял и рикошетом веером развернул хвост. Серые в дымчатом крапе взъерошились перья на шее.

Раздулся глухарь, стал поперек себя толще. Точно панцирь, отсвечивал глянцевиито-зеленый зоб. Рдели широкие красные брови. Под мохнатыми пальцами с хрустом продавливалась снежная корка. Шел глухарь, следы лапами печатал. Иногда вздрагивал и возил распушенными до полу крыльями. Пританцовывал, кружился и скреб по снегу бурым крылом, и зорко, настороженно озирался из-под красных бровей.

Елочки — по шею в снегу. На цыпочки вставали: в самом деле глухарь крыльями чертит? Ага, чертит!

Дождались! Глухарь чертит — зиме конец и быть здесь току — таинству таежному, сокровенному, з какою мало кто посвящен...

* * *

Потемки — глаз коли. Небо, опрокинутое наземь, смешалось с хилым, заплесневелым леском. Опрокинулось и не подняться ему: набухло вонючей болотной сыростью, застряло в мешанине сучьев, хвои, белесых трав. Света, немного бы света! Но ни света, ни воздуха. Не назвать же воздухом душную вязкую прель? Она облепляет нас, более липкая, чем залитая водой, закоряженная болотина, которую мы месим сапогами.

Между тем Кадуйский угол Вологодчины известен более не болотами, а сосновыми борами, где весною раным-рано обнаженные косогоры усеваются лиловыми звездами сон-травы, благоухают клейкие почки березовых роц и пылят желтые песчаные дороги...

И дорога пылила, и с ветром грузовик вез нас навстречу с глухарями. Уж мы их за хвост подержим!.. Лихо наш «ЗИЛ» мчал: на ветру слезы из глаз. Наматывая километр за километром на потертые шины, любо-дорого как бодро он вылетел к деревне Большие Старухи. Вылетел и осадил назад, выпучив фары.

Вдоль посадка — лужа. Чудо что за лужа: в ней мокли веники-голики, мусор и окурки плавно плавали по ветру, будто кораблики.

Сунулись мы в объезд: не мечтай проехать. Пробуксовывая по скользкой, как намыленной, глине грузовик повернул обратно и сел в луже на дифер. Прочно сел. Основательно. Покряхтел и накренился на правый борт — в довершение несчастий спустило колесо.

У дуплянок, поднятых на шесты, скворцы задирали носы. На подбор в блестящих парчовых фраках, они потряхивали куцыми фалдочками, ошарашивая окрестности свистом.

Освистали нас скворцы: в луже посреди деревни застрять намертво — это же курам на смех.

Да, но лужа-то какова — море разливанное!

— Товарищи, что вам сегодня снилось? — спросил один из нас.

— Мне — лошадь, — вздохнул второй. — С копытами. С хвостом.

Кабы лошадь, разве бы застряли? Трюх-трюх, и всех дел. Колечко в дуге брякает. Как их? Гужи?.. Ну да, гужи скрипят. Романтика, — трюх-трюх, пять километров в час.

— Мне кошка дорогу перебежала, — буркнул третий.

— Ну-у? — ахнули мы. — И ты с дурной приметой в нашу компанию набился?

— А что? Может, это вредно — в машине ездить? Еще продует. Насморк схватишь. Чего хорошего?

Кто не знает, что лучше плохо ехать, чем очень хорошо идти? Изведайте — убедитесь!

В сумерки лишь мы попали куда надо — в хутор Середник к охотнику Павлу.

Был самовар. Были разговоры, уговоры и переговоры.

— На мотоцикле ехал и ногу подвернул, — не сдавался Павел. — Растяжение жил... Справку покажу. Желаете?

Ты ее глухарю покажи!

Э-эх, все замыслы насмарку. Мечтали, готовились и... То лужа проклятая, то проводник на ток отказывается вести.

— Есть ток-то, есть! — кричал Павел. — На делянке поют. Найдете! Ступайте по тракторному следу прямо, прямо... Да где вам с пути сбиться-то?

Ясно, негде. Особенно в чужом лесу и ночью!

Заря погасла, когда мы переправлялись через реку Суду. Несло сплавной лес. Течение бешеное. Бревна сталкивались, топили друг друга. Одного бы удара бревна достало, чтобы утлая перегруженная долбленка, черпнув бортами, ушла на дно.

Едва очутились на противоположном берегу, в избе Павла погас свет.

Ночь, добрые люди спят...

А мы тащимся, навьюченные походным скарбом. Грязь по колено. Спотыкаются батоги. Кочка... еще кочка! Переход из жердей. Наверное, под нами ручей. Так и есть... Ч-черт! Батог не нащупал опоры, немного — и я ухнул бы по горло в воду!

Темень слепая, воспаленная. Похоронно воет сова: «уху-у... кугу-у».

Что гонит-то нас в болотную пучину, сквозь крошечную тьму?

Спотыкаются батоги. Запинаются сапоги...

На губах привкус ржавчины. Волглый настой мхов, древесной гнили и прелых листьев под ветром словно бы рябит, колышет, пропуская откуда-то с суши запахи проросших трав и хвои.

Валежник, колодины. Падаем, разбрызгивая лужи. Собственно, это одна лужа, длиною в несколько километров. Болотом зимой вывозили лес, тракторы в крошево обломков искромсали гать, насланную по трясине.

Едкий пот выедаёт глаза. Темень справа, темень слева, темень впереди. Внизу... Лучше не смотреть под ноги! Ощущение такое, будто карабкаешься из ямы; отвесны ее стены, зацепиться не за что — темень, гниль, болотная ржавая плесень.

Вспоминается некстати, что Павел в избе не шибко хромал. Но спохватившись, припадал на обе ноги разом. Артист! Система Станиславского под тесовой кровелькой, и больше ничего! Он скреб под рубахой поясницу, вздыхал, напрашиваясь на сочувствие:

— Растяжение жил. Да я бы для вас... Глухарешек этих за хвост хоть имай! Ну, честное слово! Выставил бы и самый раз!

От парной духоты разморивает: поддайся малодушию, прислонись к какому-нибудь чахтому деревцу перевести дух, — стоя уснешь. Шуршит забрызганная грязью одежда. Сова умолкнула, комары не зудят. Зловещими странными звуками отдается густой влажный воздух на шаги, сопенье и чавканье, с каким вытаскиваем сапоги из торфяной каши. Чудится, мы топчемся на месте, не подаемся ни взад, ни вперед, погружаясь глубже в душные потемки, и кто-то другой кружит возле, преследует нас. Хлюпающей болотине нет дна: мы проваливаемся, барахтаемся, она засасывает, бурлят, хлопочут пузыри болотного газа. Опереться на шест нельзя — уходит в торфянистые мхи, посовываешься ничком, лицом в грязь. Ступить тверже нельзя, сразу вязнешь выше колен, вода льется в голенища.

— В этом-то и прелесть охоты! — подбадривает Сергей Петрович.

Он инженер, руководитель большого хозяйства. С виду, по внешнему впечатлению, никак не таежник. Но, удивляя

подчиненных, берет отпуск зимой. Неделями его не видят дома. Отирает бока на нарах промысловых избушек. Добывает лосей, пушнину. Ветром его шатает, когда заросший бородой, прокопченный чадом походных привалов является на службу, в кабинет с телефонами и секретаршей, и клянется друзьями: «Чудесная зарядка!»

Он взялся идти первым, и мы — за ним. Как альпинисты в одной связке. Как разведчики в ночном поиске. Альпинисты, сдирая ногти, нащупывают в отвесной круче трещину, чтобы твердо опереться ногой, — так и мы тычем батогами, по наитию выбираем, куда шагнуть и не оступиться в трясину. Разведываем мы себя. Хлюпает и чавкает болотная жиждель, зыблется, ходит ходуном. Деревья во мраке томят... Пройдем! Кроет нас ночь, душат гнилые болотные испарения... Одолеем! Всякие в жизни случаются болота: одолеем, какие бы ни были. Уверенность в себе подкреплена этой ночью, в этих трущобных хлябях.

А глухари?

Они собираются на токовище перед закатом. Бывает, что приходят пешком, если близко кормные угодья: сосняки, клюквенные болота и пожни. Попастись на травке — им милое занятие.

Вечером обыкновенно глухари играют слабо. Сидят молчком, перелетают по деревьям. Можно из них выделить одного-двух матерых, — это патриархи, оберегатели потаенного святилища. С характерным щелканьем: «Д-док... док!» — цукают они братьев помоложе. Строго держат их на почтительном от себя расстоянии: «Брысь, не мешайтесь между старшими, затопчем... Д-док, д-док!» Намек на опасность, тень тревоги, и сгинут токовики, шумом крыльев предупредив остальных.

Ничто не беспокоило глухарей ни вечером, ни ночью. Наутро, чуть забрежжит в небе ранняя заря, раздастся из хвойных громад:

— Ток-ток... ток-ток-ток... шифи-шифи шифи!

Тихий этот зов сродни капели с мокрых деревьев, скрипу сухостойных елей, ошметиненных голыми, как мертвая кость, ветвями. И пробуждающемуся дыханию хвои, и неясным лесным шорохам. Наполняется суземье дикой нестройной музыкой: слушаешь ее, и мысль возвращается в забытую древность, когда, быть может, на этом болоте водились мамонты; наш пращур острил у огня деревянные

стрелы и молился падучей звезде... «Ток-ток, шифи-шифи», — глухарь запел! Проступают льдисто вымоины неба. Восток пламенеет. Играют глухари: слетев наземь, сшибаются грудью о грудь, бьют крыльями. Пена орошает испачканные смолой загнутые белые клювы. Колесит по токовищу старый глухарь. С вызовом несет развернутый хвост, волочит распушенные крылья. Лужа — брызги летят, так резво перемахивает через нее. Колодник, заросли можжевельника — не преграда. Сшибаться грудью о грудь, драть клювом перья из соперника и петь: «Ток-ток-ток, шифи-и-шифи», — одни желанья владеют им, в иное, не внешнее время скрытным и осторожным донельзя.

... Раскромсанная тракторами просека кончилась. Ныряем с ходу в лиственный молодняк. Бьют по лицу сучья, ввиваются в одежду и не пускают.

Сейчас главное поспеть на место. Нам давно бы пора, еще с вечера, быть на месте.

Но в Больших Старухах такая чудная лужа!

Из зарослей выходим в старый бор. Устали, едва ноги волочим.

Сергей Петрович жжет спички, сверяется с компасом. Что? Заблудились?

Напряженной гудят сосны. Очищается небо от хмари. Ветер — откуда и взялся? — набирает силу. Сеется сбитая хвоя. Ветер восточный, он знобит промозглым холодом. Рваные кромки туч касаются макушек деревьев, гнут их ниже, распластывают, и не гул монотонный, усыпляющий — тяжкий ропот выносятся из хвойных недр, грохочущим валом катясь в сырые болотные дали.

Вывел Сергей Петрович на токовище, успели к рассвету.

Глухари вот не заиграли.

Они или вовсе не прилетают на ток, или молчат, за исключением ретивых одиночек, если ожидается непогода.

Светало. Снежная крупа хлестала косо, высекая на лужах пузыри. Белые, отлого направленные стрелы били по стволам, по мхам и хвое. Сморщились голубые венчики пролесок, смежила лиловые очи сон-трава.

— Так что нам снилось, мужики?

— Лошадь, — бурчит один из нас

— С копытами?

— Ну да. И с хвостом.

— А голова большая?

— Большая и умная... Отстань!

Сергей Петрович насвистывает: «Жил да был черный кот за углом», — и глаза у него смеются.

В рассветной мгле невозможно понять: мох боровой забелел под соснами или снег.

У костра от насквозь пропотевшей одежды валит пар, и его сдувает ветром.

* * *

— Глухарей-то много?

— Глухарей? — Шурик неопределенно поводит плечом. Затрудняется в ответе: много, что ли, надо? На нем замасленная стеганка, кирзовые сапоги с подвернутыми голенищами в обтяжку.

— Есть, водятся, — сказал он помедлив. — Навечеру сбродим.

Шурик после школы-восьмилетки выучился в Тотьме на механизатора, эти дни занят в колхозе на пахоте. Мне по душе его немногословность, можно на парня полагаться. Что сказал, исполнит.

На холме деревня Гора, окнами к полям и реке Уфтьюге.

Избы кондовые. Горницы, обширнейший сеновал, скотный двор и хлевы, подклети — все крыто одной крышей.

Невыразительны, голы и плоски были бы избы, если бы не висячие балконы, резкое узорочье ставень, причелин да коньки на крышах.

Кони, кони: что ни изба, свой конек. Плывут над ними облака, шумят березы, распуская по ветру плакучие ветви...

К этим бы избам да хоровод на зеленом лужке — с перебором тальянок, с топотом смазных сапог! Чтобы кумачные рубахи парней маком цвели, чтобы девичьи голоса вкруг все поля облетели:

Как на тоненький ледок
Выпал белянький снежок...

Столбы по деревне. Провода и провода. Несут электрический ток. Несут вести-новости: повсеместно теперь радио.

Безлюдье. Одна старуха в сарафане-пестряке на завалянке с вязаньем в коленях сутулится.

Любимый город может спать спокойно
И видеть сны и зеленеть среди весны. —

слышно из раскрытых окон.

Петух, названивая шпорами, разгуливает на куче мусора — красная корона залихватски набекрень, грудь в атласном жилете. Чванится, хвост распускает. Крыльями выбил пыль из жилета и прогорланил:

— Кука-ра-ча!

Ишь ты, бас-то каков, просто Шаляпин!

Лапоть-отопок валяется. Травой зарос. Прихватить его, что ли с собой?

Нет, Шурик засмеет: в лес растопку не носят. Хватит там бересты.

Лес, лес... Первобытны леса по Уфтюге! По ее притоку, суземному Кондасу, обжились бобры. На Порше в белых ягельниках замечены стойбища диких северных оленей. И рыси есть, и медведей в глуши в избытке. Если от Горы подняться болотами на север, то, без преувеличения, отмеряй сто-полтораста верст, не встретишь ни дома, ни дыма. В счет ли затерянные по суземью одна-две сторожки лесных кордонов?

Мне повезло, что сразу после Кадуя попал в этот край. Где и быть глухариным токам, как не на Уфтюге?

Шурик явился поздно, уже темнело, и я терял надежду, истомившись ожиданием.

Неизменная стеганка, кирзовые сапоги. Ружьишко на плече по-таежному стволом вниз.

— Вы готовы? Тогда идем. Тут близко.

Ток оказался снова на делянке. Везде лес ведь рубят. Хоть в Кадуе, хоть на Уфтюге.

Зимой при выборочной рубке здесь заготавливали столбы для линий электропередач, для нужд связи. Мы и пробрались к приболотью по волокам — петлястым примятым тропам с ломкой, ржавой хвоей, накрошенной зимой с гракторных возов.

Не теряя времени, Шурик повалил топором сухостойную сосну. Чистое смолье: костер занялся с первой спички, пылая, дунул вверх искры.

Задолго после заката, — сквозные просветы между деревьями смыкались, за шаг от костра встречали потемки, от звезд зарябило в лужах, — протянули стороной несколько глухарей, с шумом сели где-то в деревья.

Напившись чаю, сдобренного смоляным дымом, прикорнул у костра Шура, укрывшись ватником.

— Свечи... Свечи продуй! — выкрикивает он со сна.

Поднимает голову бессмысленно и рокает ее на сосновый лапник.

Смолу на огне пузырят поленья.

Звезды мигают.

Ласково пахнет ветер, разбудит шорохи да пискнет в вышине птичка, ночью отбившаяся от перелетной стаи...

Тишина. Мне эта ночь запомнится тишиной. Сажусь на пенек, слушаю. И будто слышу, как втянув шею, храпит духарь-токовик, спятившись по суку в гущину хвои; как на Кондасе в заводи елозит и измывается щука, сгустками студня выдавливая липкие зерна икры; как в болотине-согре далекой Порши сокжой — вожак оленьего стада перетирает на зубах жвачку из сладкого ягеля; как медведь, чавкая и сопя, загребаёт в пасть муравьище.

Тепло. За спиной маячит огонь костра. Он лишний в ночи, и я сижу к нему спиной, приучая глаза к мягкому обволакивающему мраку.

Гул донесся сверху, где реактивный самолет невидимо стелет полосу инверсионного следа. Днем она сверкающая и острая, точно обнаженный меч. Пытаюсь представить пилотов в их шлемах, высотных скафандрах: рев моторов рвет тишину в клочья, сверкающий меч надвое разваливает небо, — они берегут тишину, сами не ведая ее в грохочущей утробе исполинского корабля, нацелившегося куда-то за леса, в беспредельность...

После гула моторов тишина столь осязаемо наполнена, что ее трудно вынести, и я возвращаюсь к костру, к говорку сучьев на огне.

Шурик проснулся, сгруживает головки. Я ставлю к угольям котелок с чаем.

Да, ток на делянке. Что ни год, все дальше оттесняют глухарей в угрюмую нежить тайги. Всюду ведется заготовка древесины, а эти птицы не выносят изрезанных рубками лесов.

Глухари — прошлое наших суземий. Недаром зовут их «соловьями каменного века». Чудом уцелели крылатые мамонты, сохранив и прежние повадки и глухие страстные песни.

Весной они привержены к раз навсегда избранным местам, где токовые игры продолжаются из года в год, десятилетия подряд. Более того, как примечают бывалые охотники, старые глухари предпочитают петь на одних и тех

же деревьях. Преимущественно, на соснах. Не обязательно выдающихся своей внешней живописностью, могучестью, — напротив, иногда токовик останавливает выбор на столь плюгавом деревце, что оно, не выдерживая тяжести исполинской птицы, шатается, роняя сухие прутьики, иглы, когда глухарь входит в раж, минутами поет без передышки. Бывает, глухарь токует на елках, на осинах. Есть даже целиком березовые тока.

Шурик заряжает ружье. Разводит руками, приседает — полный порядок, одежда не стесняет движений. Топор он сунул за пояс.

Мы расходимся, условившись в случае чего подавать друг другу сигналы свистом.

Сучья, задевая лезвие топора, извлекают из него звенящий, медленно гаснущий звук. Он удаляется от меня, стихает.

Чутко слушаю. Комар вздохнул, почешись спросонок лапками, я бы сразу, кажется, засек! Глухарей же нет. Не играют.

Звезды померкли. Громче, совсем рядом, чужфыкают и урчат тетерева в березняке, заливаются дрозды, зарянки, гориховстки, неутомимо вытенькивает пеньочка: «тень-тень», будто роса накапывает в ручей.

Шире и светлей прогалины между деревьями.

Но чем так пахнет? У меня чуть кружится голова. Запах смолистый, влажно-теплый.

А, березки зазеленели. В одну ночь зазеленели — струится со скромно опущенных ветвей душистый прозрачный парок...

Кукушка прокуковала.

Я вспоминаю, что вещунья-бездомница не кукует в неволе. Сюда, до Нижней Уфтьюги, дошел заказ Зооцентра отловить для зоопарка кукушку, поющую после поимки. Назначена крупная премия, никто ее пока не вытребовал.

Шура... Где он? Я тихонько свищу: ни говорить громко, ни кричать на токовище нельзя.

Шурик возникает точно из-под земли.

— Ну как? — шепчу ему.

Что спрашивать! У него губы спеклись. Капли пота выступили на переносье. Это единственная ночь, какую Шурик проводит в лесу: сев наступил, с завтрашнего дня пахота пойдет круглые сутки, не до охоты будет.

Он покусывает губы: привел человека на ток, а тока-то и нет.

Позванивает топор, задевая за сучья.

Вдруг я застываю, подавшись вперед.

— Д-док... д-док, — размеренно падает с сосны. Кто-то темный передвинулся в сучьях, замер в ожидании, как замерли мы с Шуриком. Бурные крылья глухаря мгновенно слились с тенями сучьев. Чернота оперения, как густые тени в хвое, седина шеи, как сивые, серые лишайники, — нипочем бы не опознать птицу, затанцующую у самой вершины дерева, если бы мы раньше не разглядели, что она там!

— Далеко вроде... — Шурик сузил глаза. Ружье держит стволом вниз. Пальцы побелели, сжимая погонный ремень.

— Д-док... д-док, — через паузы тревожно роняет глухарь.

Шурик кивнул мне: стреляйте, чего уж.

— А ты?

Ну да, ну да... Он мне обмолвился, что осенью уходит в армию. Может, это его прощальная ночь в вешнем лесу?

Он не хочет стрелять, вот и все. Похоже, что я его понимаю.

Не выдержав, срывается с сосны глухарь. Поодаль грохочет на взлете крыльями другой. Глухарка гнусаво заквахтала в глубине рёлки — мшистого бугра среди болот.

Почему глухари не играли? Не слишком ли близко мы расположились с привалом, глухарей, возможно, настрожил стук топора, когда Шурик рубил дрова для костра?

* * *

Тучи плоские, чернильные. Они отползают, и края их, размытые дымным лунным сиянием, открывают звезду за звездой.

Долговязая сосенка, когда ветром колыхнет пламя костра, тотчас мотнется от обжигающего огня, чтобы через минуту успокоиться, нежась в его жарких отсветах. Побег хвой напоминают детские пальчики. Любопытная сосенка на ощупь, пальчиками тянется к костру: что это такое? Потом, обжегшись, отдергивает лапку, вот-вот на нее падает.

Сегодня я один. В стороне, где деревня, гудят тракторы, — попробуй сказать, который из них Шурика?

Разбухли хвойные сучья, набрякли теменью.

И кому есть дело до того, если в одиночестве я исповедываюсь в любви к соснам, погрузившим вершины в небо, к березам, мягко протупающим в ночи? К мхам — как свежо, духовито и притаенно дышат они, разомлевшие в неге майской ночи! И к оленю на Кондасе, и к бобрам, поправляющим плотину после паводка... Я наедине с этим миром, лес со всем живым в нем и дающим жизнь, — моя родина. Я родился в нем, и зыбку укачивал ветер, как на мохнатых лапах качает он звезды. Все очень просто: с маленьким некому было водиться, мать зыбку-люльку несла на ложню. Выбирала дерево в тени, вешала люльку на сук — няню заменял ветер. И я исповедуюсь в любви к нему — темному ночному ветру, прилегшему отдохнуть на мхи. Звезды спят, истончившись до непостижимых искр, убаюканные тишиной. Спят деревья, вздрагивая со сна, как дети от избытка роста. Успокоенно устоялся воздух.

Трава дает всходы. Набухают соками почки. Неодолима жизнь, веки вечные торжествовать ей. Торжествовать — в бледных ростках под насыпью налых листьев, и в зернах рыбьей икры, и в звездах, и в небе... Во всем, во всем живом!

Раскалены уголья. Дрожит пепел, голубой и белый, движимый идущим от угольев током. Не мельтешат блики, покойны. Тени покойны. С шершавых стволов, с лохматых косм хвои стекают вниз струи света: с сучка на сучок пониже, капля по капле с еловых и сосновых иголок. Наливаются щербинны, шероховатости коры темнотой. Это угасает костер, и уже, все уже круг света, им порожденный, кучней толпятся деревья, нависают спутанными кронами.

Кто-то вкрадчиво скребет, ворошится в сучке у самого моего уха. Он мертвый, этот сучок, трубкой отстала кора, тощая свисает бородежка подсушенного костром лишайника. На полу моей тужурки из-под коры вываливается белый с черной головкой червяк. Вернее, личинка. Вся головка ее — черные челюсти. Зазубренные, отливающие металлом.

Луна серпиком. Небо полно звезд.

Но что, если глухари уже поют?

Загадочна песня глухаря. Подняв шею, в суровой важ-

ности расхаживает он на суку, врезая свой силуэт в зыбкую полутьму неба, и в мольбе тянет клюв к звездам: «Ток... ток... ток-ток-ток... шифи-шифи-шифи». Такой великан и такие тихие, слитые с утренней дремой издает он звуки! Ворочает шеей, развернутый веером хвост хороший резонатор, поэтому глухариный шепот чудится то дальше, то ближе, то справа, то слева, тонет, растворяется в постороннем шуме. Поет глухарь, втянув язык глубоко в горло. Долго его считали немым, безъязыким. На последнем колене: «шифи-шифи-шифи!» — сходным по звучанию, как если бы на лугу точили косу, — токовик ня время словно бы гложет. Поет, не слыша самого себя, и грудь блестит латами, как щит, опущены могучие крылья.

Немой, глухой, но отчего завораживает его песня, вся взятая из скрытых, не увлекающих праздного слуха шепотов, шорохов, скрипов?

Только отошел я от костра, как услышал глухаря. Немного погодя, освоившись с предрассветной тишью, — еще двух. Не осмыслив, что же это я делаю, лишь достигли слуха страстные пришептывания: «шифи-шифи-шифи», — стелющимися прыжками бросился им навстречу. Лужа, — брызги выше головы; завал бурелома, — продрался сквозь вскинутые, как штыки, сучья в одну секунду! Что там сучья, сквозь стальные штыки пробился бы к глухой и таинственной этой песне — с одной мечтой овладеть ею, сделать ее своей...

Попеременно, то замирая, когда певун умолкал, то прыжками под его «шифи-шифи», я подкрался совсем близко.

На желтом небе глухарь увиделся мне черным лебедем. Долго-долго не смел я вскинуть к плечу ружье.

Ладно, пусть это будет последняя глухариная ночь...

После выстрела я поднял птицу за лапы, жесткие отроговых чешуй. Подвернув голову под крыло, спрятал в рюкзаке. Траурный в белых мраморных пятнах хвост не уместился: не застегивая клапана, я скидываю отяжелевший рюкзак на плечи. И будто не глухаря, будто груз бессонных ночей нынешней весны поднят мной на плечи.

Не песню несу, песни остались в сумье.

— Ток-ток-ток... шифи-шифи, — раздается сзади.

Все притаенней, все глуше:

— Ток-ток... шифи-шифи!



АЙ — ТРАВЕНЬ



Выстуженный прохладным дыханием почек, чист был воздух, стекленел, замирал, когда поднялось солнце. Сразу повеяло теплом, со дна лесов-хвойников потянуло терпким и ядреным духом, и все воспрянуло, построинело и даже блеклые травинки как бы приподнимались на цыпочки, держа на шершавых листьях капли ночной влаги. Разом ослепли лужи, расплескав по хвое, по сырым угрюмым стволам сосен солнечный свет. Разом оглох лес — так ударил птичий хор!

Всегда неповторим май — зенит весны.

У весны три долга, три завета: тьму зимнюю одолеть — с этим март справляется; снег согнать, землю согреть — тридцать дней ее апрель парит, из ручьев живой водой отпаивает; третий долг — отогретую землю в зелень убрать, — остается на долю мая.

Как «травень-цветень» стоял в народном календаре месяц кануна лета: «Апрель с водою — май с травой».

9 мая — День Победы. Идут и идут людские колонны к памятникам воинам, павшим смертью храбрых в годы Великой Отечественной войны. Дети несут хвойные венки, букеты полевые — скромную дань памяти героев. Пали на по-

Желтеют в траве
шары купальницы, —
Весна поворачивает
на лето...



ле брани солдаты и за то, чтобы солнце вставало над нашими полями, сады наши цвели, смех и песни не смолкали... Пали ради жизни на земле.

Жизнь! В мае — всюду жизнь... Буйно в рост трогаются озимые хлеба. Вишни, яблони идут в цвет, гудят от пчел.

Ты, пчелонька,
Пчелка ярая!
Ты вылети за море,
Ты вынеси ключики,
Ключики золотые,
Ты замкни зимыньку,
Зимыньку студеную!

15 мая — соловьиный день, с седой старины отмеченный в памяти народной.

Май, он всякий бывает. Случается возврат холодов. Валил снег на юную зелень.

И вот каким бы ни был май, соловей не замедлит прилететь. Бывает, ветер бесится, побитые стужей гаснут lilовые медунницы, пурга, случается, пуржит. — соловей же, как прилетел, так и запел. Целкает, трелями заливается! В знойных чужедальных краях, где гора Калиманджаро, где стада антилоп пасутся, там соловей — молчальник. Хранит песни для нас, тоскуя по белым бережкам, по небу отчизны милой...

Май — страда огородников. Велся раньше обычай: выносили бабки, рассадницы-огуречницы, горшок щелявый на гряды, непременно с выдернутой поблизости крапивой — это «ограждение» от напастей, от вредных гусениц, прожорливых жуков. Чтобы «нежить поганая» не прикасалась ни к чему, кроме крапивы жгучей! А высаживая рассаду, приговаривали: «Рассадушка-рассада, не будь голе-наста, не будь пустая, будь пузаста да тугая: не будь красна, будь вкусна...»

Май, он всегда кажется коротким: «Рада бы весна вековать вековушкой, но прокукует кукушкой, соловьем залывается — к лету за пазуху уберется». Начало мая — пылят бархатные жгутики-сережки осин, а конец весны знаменуют бутоны шиловника, мохнатые кашки красного клевера.

Май... Тянет в эту пору в лес, к реке и в поля — окунуться в благоуханье черемух, позреть с удочкой у заветного плеса, слушая птичьи хоры. Сидишь на берегу, смотришь вокруг, слушаешь и возникает чувство близости, кровного родства во всем, что есть на твоей щедрой земле — от города, где живешь, до последней травинки, по которой ползет муравей!



Самое-самое-самое

«Люблю грозу в начале мая, когда весенний первый гром, как бы резвяся и играя, грохочет в небе голубом!» Но в 1807 году первая гроза в Вологде отгремела... 2 марта, а в 1930 году услышали гром... 21 июня!

Последний снег из-под Вологды уходит в начале мая. В 1905 году он здесь стоял на месяц раньше — 7 апреля. Но в 1840 году 16 мая такой ударил отжимок, что из Тотьмы приезжали на санях. Самый был холодный май — и гром гремел, и снег лежал!

«За окном черемуха колышется, осыпает лепестки свои»... В 1921 году демонстранты на праздник вышли с букетами, черемуха расцвела как раз 1 мая. Самая поздняя дата ее цветения — 16 июня 1941 года.

Первую трель соловья в 1848 году слышали вологжане... 12 апреля! Что-то очень уж рано, даже не верится!

Первое «ку-ку» раздалось в 1957 году очень рано, в первый день мая. В 1907 году кукушка прилетела только летом — 20 июня.

Кто, где? Куда и откуда?



ЛИСИЦА — на Рыбинском море наведываются рыжие на берега. Подъем воды, подпертой плотиной, выгоняет мышей и лисы их ловят, попутно собирая выкинутую волнами снулую рыбу. Повсюду в норах лисята. Норы удобные — с мягкой постелью из мха и травы сухой, с «форточка-

ми»-отдушинами и запасными выходами на случай беды.

КУНИЦА — в дуплах, отнятых беличьих гнездах, иногда в валежнике появились малыши. Их 2—6 до 8. Больше месяца они слепы и беспомощны.

ЛОСЬ — быки новые рога растут, а у лосих — отелы. Так что

все в весенних заботах! Приносит лосиха двух, молодые и одного теленка.

БУРОЗУБКА — меньше зверя в лесах нет — вся с длинным носом-хоботком около пяти граммов. В захламленных лесах с травянистым покровом, в пустошах под пнями, кучах хвороста свито гнездо из былинки, совсем как птичье. В нем пищат 12 мышат. Между тем бурозубку саму-то можно в наперсток посадить.

ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ — в Грязовецком районе, на Чагодош и в Устюжну с юга подоспели нетопыри. В дуллистых осинниках и дубравах, по березнякам вдоль опушек усатые ночницы ловят в сумерках комаров, жуков, бабочек. И более крупная летучая мышь — северный кожанок — на месте, летает у деревень за Шексной, Соколом и севернее.

ЕЖ — ежата рождаются голыми, но спустя всего несколько часов покрываются иголками. В самом деле, какой же ежик без иголок?

ГЛУХАРЬ — глухарки садятся на гнезда. Бородачи-токовики кончают турниры и скоро забываются в непролазную чащу: старые затрепаные обносившиеся перья на новые менять.

ТЕТЕРЕВА — чем дальше к июню, тем косачи токуют слабее. В отличие от глухарок, устраивающих гнезда у моховых болот, в глуши, тетериха предпочитает близость полей, старых вырубков и мелколесья.

РЯБЧИК — кое-где таежных этих хохлачей числом больше, чем тетеревов и глухарей вместе взятых, но мало кто находил рябчиных гнезда. Ямка, несколько былинки да перышек — все убранство, а так гнездо укрыто в траве под еловыми лапами. ря-

бушка столь плотно сидит, что наступишь, да не заметишь!

КРЯКВА — пух, перья из грудки повыщипаны, сидят клуши крякухи по гнездам.

КОРОСТЕЛЬ — то пешком, то на крыльях из Африки спешил заставить в цвету черемухи!

ОЛЯПКА — по быстрым, родниковым ручьям, лесным речкам Прионежья, Бабаевского района Замечалась на реке Лежа. Поток пеной брызжет в гнездо, да оляпка хоть бы что, — вся жизнь Dickinsonian птички-водолаза связана с водой.

СУДАК — в Белом Озере, других судачьих водоемах судачиха уходит в глубину, судак-молочник остается в одиночестве. Как веером, обмахивает плавниками икру, стережет ее, стоя на карауле.

ХАРИУС — в Онежском озере в перекастистых, порожистых речках Тарноги, Никольского района и т. д. мечет икру при температуре воды 8—10° тепла. Идя против течения на нерест, хариусы выпрыгивают из воды, сверкая спинными плавниками, точно жар-птицы крыльями.

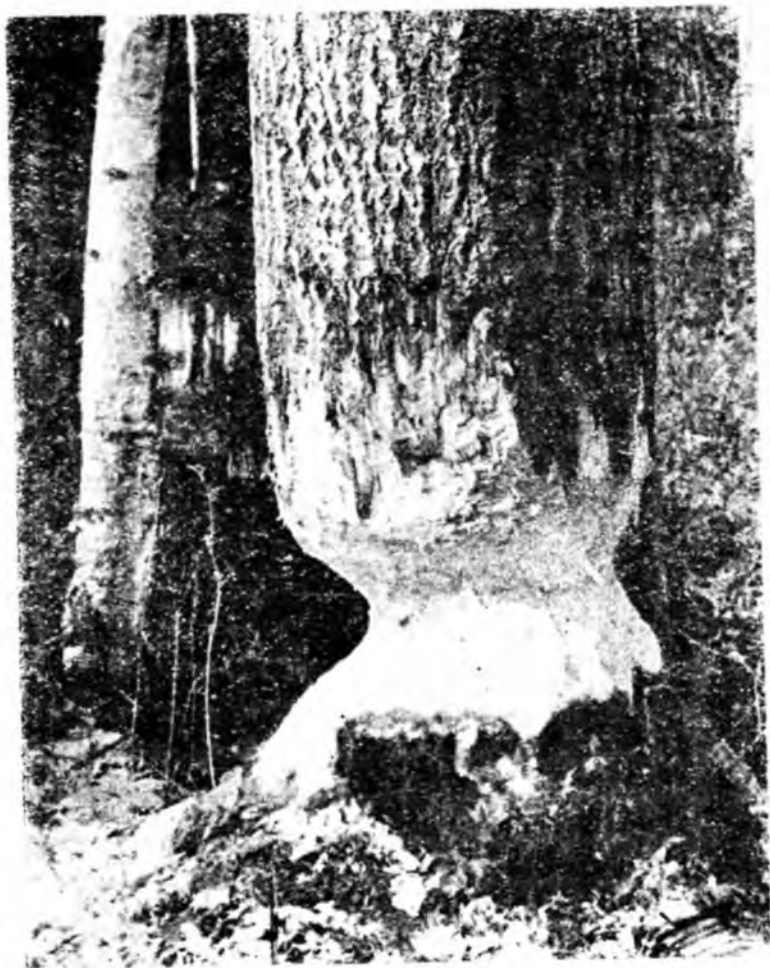
ЛЕЩ — у берегов, по закоряженному каменистому мелководью, как только вода прогреется до 14—15 градусов. На нересте буен и шумен, плещется, скачет, сам же постороннего шума не выносит.

ЛЯГУШКИ — кажется, в каждой луже-переплюхе задают концерты!

ЖАБА — опустилась на дно метать студенистую свою икру.

ТРИТОН — в воде. У самца фестончатый гребень от головы до кончика хвоста.

ЖУК МАЙСКИЙ — на березах, тополях. Вылет в пору зеленого шума листьев.



Всю ночь подгрызал бобр эту осину. Велика, толста, — еще
ночку придется потрудиться!

МЕДУНИЦА

Отправился я за город, получив от Оли наказ:

— Принеси цветочков. Разных-разных: розовых, красных, синих. Мы в воду их поставим и будет красиво.

— Хорошо, — отвечал я, — попытаюсь.

— Ты очень хорошо попытайся, — просила Оля.

Она маленькая, наша Оля. Лишь когда напроказит, закапризничает или суп отказывается есть, мы ей говорим: «Этакая большая, а ведешь-то себя... Ай-я-яй! Смотри, в школу не примут». А какая ей еще школа: в детский сад водим за ручку.

И ей трудно объяснить, что ранней весной разных-разных цветов в лесу не бывает. Кабы лето, тогда, пожалуйста, любых цветов пропасть. Но в начале весны одни желтые: это мать-и-мачеха распустилась по косогорам.

Было в лесу пусто, голо и сыро. Кое-где в тенистых ельниках снег. Дорогой не пройти: лужи, колея раскисла. — перасчетливо ступишь, еле сапог вытащишь, по пуду глины на него налипает.

«Э, — думаю, — Оля, букетик собрать для тебя — все равно, что найти волшебный аленький цветок из сказки!» Повернул я восвояси.

Желтых-то цветов я нарвал. Безо всякого труда. У самой автобусной остановки.

Автобус, однако, задерживался. От нечего делать прошел я от шоссе в осинник. Там было посуше. Сморгю: будто алые огоньки из мятой, спутанной травы светятся. Нашел! Нашел для Оли алый цветочек, — то-то будет у маленькой радости. Она у нас цветы любит.

Приехал я домой. Оля с порога ко мне:

— Привез?

Значит, не забыла свой наказ.

— Привез, — отвечаю. — Ставь в воду, в банку. Только сама воду меняй: ты уже большая девочка.

— Ой, да у тебя только желтые да красные. А где синие?

— Будут. — говорю, — и синие. Это волшебные цветочки: сперва они красные... видишь? А потом будут лиловые и, наконец, голубые.

У Оли глаза стали круглые, бровки наморщила:

— Правда?

— Конечно. Разве я тебя стану обманывать?

Вижу: не верит. Бровки морщит, заглядывает мне в глаза:

— Разве такие бывают? Чтобы и алые, и лиловые, и голубые сразу?

— Поживем, увидим.

— Ладно, — она говорит. — Будем жить-поживать.

Вприпрыжку-вприскок побегала Оля на кухню попросить у мамы банку, воды налить и поставить лесной букетик.

Наутро Оля проверила, как ее цветочки. Желтые подзавяли немного, зато алые... Постой-ка, постой! Это они вчера были пурпурно-красные, а сегодня стали фиолетовые.

— За ночь перекрасились! — кричала Оля.

К вечеру необыкновенные цветочки из густо-фиолетовых, бархатных, впрямь стали голубыми и прозрачными — жилки насквозь видно. И начали цветочки, крохотные их граммофончики, осыпаться. Известно, их век в банке с водой короток.

Медуница — так зовут цветочек, который, как распухает, то и дело перекрашивается. Бывает и алым, и лиловым, и синим, и голубым. Шершавые листья, стебель цветка покрыты волосками. Как бы утеплены: медуница — первоцвет, распускается в голом лесу, когда нередки холода. Остальные травы, цветы под снегом спят, а медуница начинает зеленеть, как только застучат по снегам звонкие вешние капли. Почва не оттаяла, снег в ельниках, но медунице нипочем: точно огоньки заалют в лесу на солнечных полянах, на пригреве, когда она раскроет жесткие листья, выпустит кисточки ярких своих цветов!

ЗЕЛЕНЫЙ ПРИБОЙ

Напряглись почки, высунули зеленые ушки. По-детски прозрачные ушки. Очень любопытные они, эти ушки, и не счесть их — на коричневых, лаково блестящих прядях берез, на смородинах, на лиловых черемуках.

Утро. Туман столбами ходит по лесным лужайкам — розовый, если попадает в полосу света; белый — в тени хвойной. Густеет туман, напитывается влажной испариной мхов, принимая к земле.

Шмель выполз из брусничной кочки. В пыли, в трухе.

Крылья отмякшие. Пообсохнув на пригреве, он первым делом почистил лапками бархатистый ворс на спинке, на животе. Завозился, загудел. Взвился шмель — будто басовая струна в воздухе загудела. Полетел на вербу, на желтые, как цыплята, барашки. Много шмелей кружит у вербы, пахнет она медом и гудит, гудит за целый струнный оркестр. Подпархивая, тут же выются бабочки: желтые лимонницы и смуглые, пестрые, как цыганки, крапивницы. Мужик сну-ют, испачканные пылью.

«Т-с-с!» — предупредительно прошелестела ель.

Березы навострили зеленые ушки. Слушают, как, прошивая истлевшие палые листья светлыми иголками, тянутся всходы трав; как муравьи шуршат; как сучья скрипят и тянет, тянет над лесом верховой ветер, несет белые с лиловыми днищами облака.

Что будет? Что? Истомились березки в ожидании.

Послышався, наконец, слабый, едва уловимый звук, как будто кто вздохнул просыпаясь, и в мятой сухой прошлогодней траве голубым глазком просияла распутившаяся фиалка.

Оливковый, в короне красного золота королек, таясь, шмыгнул в хвойные потемки. Надрывался под ношей, нес в клюве пушинку. Ага, гнездо королек строит на елке!

С оглядкой ступая, прошла к норе лисица. Кто ее видит, — некому! А лапки ставит, как печатает. Когтистые пальцы сжимает щепотью — чтоб ненароком когтем по колоднику не стукнуть, сучком не хрустнуть. Ну и щепетильна, ну и осторожна — и хвост на весу, и ушки на макушке. Зимой лиса в меховых туфлях, настолько подошвы лап опушены шерстью. Но весной шерстка повылезла, босничком лисоньке гулять до осени.

И все слышат, во все тайны посвящены прозрачные ушки берез и черемух. Им любопытно, во все самое сокровенное надо вникнуть прозрачным острым ушком.

Вдруг — хр-рясь! Сопенье, шум...

Ушки даже посморщились, кажется: нельзя ли потише?

Ну да, медведь. Пень гнилой выворотил. Раздирает лапами.

Здравствуйте, второй медведь! Звали его, да? Пожаловал на шум, — извольте радоваться.

Драка? Вполне вероятно...

Оба на дыбы: р-р-р! Р-р-р! Тянут шеи, крутят лобастыми круглыми головами. Я выше! Нет, я тебя выше! Рычат, лапами по воздуху боронят.

А молоды оба, наверняка оба — братцы. Из одной берлоги.

Плюнул первый — попал. Плюнул второй — попал!

Плеваться, это они могут, их не учи.

Расплевались и разошлись! Один — направо: «Из-за гнилушки драться? Р-р... р-ры!» Второй — налево: «Р-р-р... стану я с тобой, мелочью, связываться! Дам лапой — мокро места не останется... Р-р-р!»

Чем дальше удалялись, тем тише, смутнее, глуше были их грузные шаги.

С былинкой в клюве пролетел королек к гнезду.

Пугливо проковылял прогалиной заяц...

Все слышат, малейшие звуки ловят прозрачные ушки берез да черемух. Сами шире, все шире разворачиваются — очень они любопытны!

Глядь — и нет ушек, заплескался лес на ветру молодым и шумным лиственным прибоем!

ПОД МАЙСКИМИ ЗВЕЗДАМИ

Свечерело. Пробегавшие автострадой машины сверкали огнями включенных фар, и шелест шин доносился и сюда — на заросшую молодым сосняком лесную прогалину. В посвежевшем воздухе крепче запахло всходами трав. Он был покоен и тих, этот вечерний воздух, золотисто-прозрачный от яркой зари, покойно и задумчиво догоравшей на закате.

Чем больше сумерки переходили в светлую майскую ночь, тем ярче сияла луна, поднимаясь над черными вершинами леса, тем трепетнее было мерцание звезд, тем лиловой, темней ложились тени в траве.

Пролетел стороной с хоркающим позывом длинноклювый вальдшнеп. Последний... И последний соловей умолкнул в черемуховой заросли. И водворилась тишина, в которой свершилось великое таинство весны: с легким скрипом разворачивались почки, выпуская клейкую пахучую зелень, шелтались травы, поднимая на бледных своих ростках палые прошлогодние листья, вороша их, смещая в сторону...

Внезапно над кустами в треске крыльев поднялась какая-то птичка. В лунном исвержном свете я успел разглядеть, что у нее пестрая, как бы веснушчатая грудка, а ноготь на отставленном назад пальчике необычно длинен. Длинен, точно рыцарская шпора. Забирая выше и выше, прищипывая воздух, птичка поднималась к звездам. Они притягивали ее. И до чего же звучной и нежной песней она заливалась, прямо дрожь по телу! И как необыкновенно шла эта чистая, сочная свистовая песня к примолкшему под лунной лесу, к майским трепетным звездам, к шороху растущих трав и благоуханью набухших почек!

Признаться, мне давно казалось: чего-то недостает майской ночи для полноты, есть какая-то незавершенность, что ли, недосказанность.

Неужели не хватало ее — крохотной звонкоголосой пичуги?

Она одна забыла про сон, отдалась звездной лунной ночи вся, без остатка, и выразила эту неповторимую, как и все на свете, ночь своей песней, торжествующе радостной, нимало не заботясь, поймут ли ее, услышат ли ее!

И на шоссе, тоже пустом в поздний час, и потом, шагая к городу, я постоянно ловил себя на мысли, что все звучит, все льется мне в уши подслушанная в ночном лесу песня лесного жаворонка-юлы, песня веснушчатого рыцаря майских звезд.

«ХОРОШИЕ РЕБЯТА»

Хотя вчера выпадал неожиданный снег («в лапоть» глубиной, как говорили в деревне), сегодня — с утра солнце, зеленая дымка туманит лесные дали.

Дремно, паровито на ручье Глубоком. Пунцовые колокольцы развешивает трава-копытень, — пора ей, все-таки весна на исходе. Колокольцы с ноготь величиной, чашечки их в волосках, словно бы в шерсти. Как меховые рукавицы: тепло — цветет копытень, холодно — в свои рукавицы прячется.

А Глубоким ручей прозван не иначе как на смех: летом едва сочит по нему тухлая ржавь, питающая исподволь омутки, где кому и жигье, так клопам-водомерам. И вдруг с нынешней водополью в Глубокый пришли бобры, — это чуть ли не на задворки деревни. Вырыты норы в берегу. Навалены осины, ивняк прибрежный местами

будто выкошен. По обмелевшим островкам и мысам столовые зверей: грудками белые, очищенные от коры прутья, илистая грязь в отпечатках перепончатых следов.

Когда-то бобр и жил вот так, рядом с человеком и по глухим таежным ручьям, озерам, болотам. Ценился он дороже соболя и был выбит, с годами прочно забыт. Поэтому не худо ради точности заручиться подсказкой. «Речной бобр в длину, считая с хвостом, может быть больше 1,5 метра, а по весу достигать 54 килограммов, — значится в зоологическом справочнике. — Меха бобра принадлежит к наиболее драгоценным видам пушнины. Окраска его изменяется от светло-рыжей до чернубурой с сединой. Бобры — типичные обитатели лесных рек и отчасти озер, берега которых поросли ивой, тополем, березой и другими лиственными деревьями и кустарниками...».

На плесе, возле затопленного острожья, паслась плотва, язи спинными плавниками вспарывали гладкую поверхность омутов и, отвлекшись, я прозевал, когда и откуда взялся бобр. Вынырнул у затопленных ивовых кустов и немедленно приступил к делу. Работал он в плывь.

Звук, с каким оранжевые резцы подгрызали ивину, живо напомнил мне стрекот электробригвы. Бреет... Цирюльник — хвост веслом, зубы стамеской!

Жесткая, длинная, как иглы дикообраза, ость шубы стеклянно просвечивала. Бобр передними лапками обнимал иву, резцы его снимали и снимали стружку. Ствол деревца заподагивал. Сыпались с ветвей желтые пуховки, течением относило пуховок в омут, где снизу их, резвясь, подталкивали плотники.

— Ку-ка-реку-у!

Ну да, деревня близко. Петух вывел куриц в поле на посеянный горох.

— Ко-ко... ко-о!..

— Куд-куд-кудах! — горланят куры, горох делят.

— Тр-р... тр-р! — обрабатывает бобр ивину.

Бобр. Петух и куры... Мне стало весело, принялся на свистывать:

Выходила на берег Катюша,
На высокий на берег крутой.

Перебравший лапками по стволу, бобр повысунулся из воды и поднял голову: что за птица такая?

Свистит?

Я пригнулся, стоя на коленях за кустиком: бобры близоруки, авось, не заметит. И все насвистываю «Катюшу», — свиста, сколько я знаю, бобры не боятся.

Свисти, птиха, свисти, — бобр спокойно вернулся к прерванному занятию.

Жадно его разглядываю: карий, спина сутулая. Бобр как бобр. Жалко, что не выделяю в нем чего-то особенного, заслуживающего внимания: ведь нет одинаковых зверей, у каждого свой, особенный облик, а я не прочь бы иметь знакомого... понимаете? Знакомого бобра! Чтобы потом в городе вспомнить о нем: как там поживаешь — зубы стамеской, хвост веслом?

Нашел! Кажется, нашел: у него ухо, должно быть, в драке надорвано и нос со шрамом.

Вот же раз: один знакомый бобр, и тот драчун-забияка!

Ухо надорвано, на носу шрам... Не то, не то. Надо бы найти кое-что посущественней.

«Крак!» — упала с треском ива в воду

Ничего, сниму бобришку на память, там видно будет. Я потянулся к фотоаппарату, этим движением потревожил палую хрусткую листву: бобр исчез. На прощанье, будто с досады, треснул широким хвостом по воде и унырнул.

Напрасно ждать, не появится больше.

На берегу ручья тропка, пробитая бобрами. По ней подходили недавно овцы на водопой, и перемешались вмятины копытц со следами пугливых лесных зверей...

* * *

Тарахтит мотор. Мыплыли сперва Сухоной до устья Ихалицы, до деревни Выставка, где что ни изба, то под окнами поленицы дров.... бобриной заготовки! Несет весной поваленных бобрами, ошкуренных осин — перенимай баграми, не ленись. Сушняк сплошной, в самый раз для топки.

— Это еще что, — поухивает дядя Вася, мой провожатый. — Это не диво, диво-то впереди!

Бобы для мужиков дрова рубят — и это не диво?

Перед лодкой, как нанятые, летят кулики, с вершин осин окликают кукушки, и Ихалица, приняв нас в свои берега, разворачивается плавно, без утайки раскрывает

тихие свои прелести. Прелести ее в заводях с темно-мерцающей глубиной, в наклоненных с откосов берегах с лебединой статью белых стволов. В шоколадно-розовой россыпи почек на липах и в звездочках цветущей земляники...

Медлительна жизнь Ихалицы, как бы углубленной в себя, в покой зеленых берегов. Но знавала река и другую жизнь — бурную, шумную. На памяти жителей округи, как десятки лет подряд производились по Ихалице и вокруг Княгинин-озера лесозаготовки. Год за годом — перестук топоров, визг пил. Чадные кострища курились зимой, как вулканы. Год за годом тракторные поезда вывозили горы бревен для сплава...

Редко-редко теперь на берегах протемнеет хвоя. Стеной частый ивняк и березы, осины и липы.

Года четыре тому назад высадили сюда «бобровый десант». Было выпущено полсотни зверей в старые делянки, а теперь стало сколько? Поленицы дров под окнами изб сами за себя говорят: прижились поселенцы.

— Цыганкин табор! — прокричал вдруг дядя Вася. — Во... во! Видишь?

Я не ослышался: «табор»? «Цыганка»?

Осинник навалян. Спуски с берега в воду протоптаны...

Гм... цыганка? Табор? Начались бобровые поселения, — это вижу. Но при чем цыганский табор?

Щурится дядя Вася усмешливо. С ним ухо держи востро, надует запросто, после расхохочется: «Шутю ведь, шутю!» Знаю я его «шутю». Дома у него собак куча. Лайки и гончак. Утром сядем к самовару, дядя Вася окно растворит, рывкает медвежьим своим басом: «Ой вы, пострелята, ой вы мои хор-рошие!» — и псы, выстроившись в ряд у палисадника, ждут, что им перепадет с хозяйского стола. Ощеряются умильно, метут лужок хвостами. Как-то я возьми и спроси: «Как эту собачку зовут? Довольно приличная лайка, — не из питомника, случайно?» Видел, что псишка — дворняга, «кабысдох», не более, не менее. Но хотелось дяде Васе потрафить, раз он орет своей своре на всю деревню: «Ой вы мои хор-рошие!» Дядя Вася, так же, как сейчас, сощурился и вымолвил: «Которую? Эту-то? Эту-то звать, как вас». Гм... гм... Как меня? Тут и началось. «Как? Как вы сказали?» «А как вас... как вас!» — дядя Вася и ручищами всплескивал, хлопал себя по бокам и хохотал — ложечка в стакане звякала. Рост у дяди Ва-

си — голова под потолок. Сапоги носит сорок седьмого размера. А уж голос, — ох, его бы голосу да хороший глушитель.

И в самом деле кличка у его любимой собаки оказалась такая:

— Каквас.

Разве не чудила? Не егерь, а скоморох, честное слово, И я тяну как можно равнодушнее:

— А-а... табор? Ну-ну...

Цыганка, так цыганка: «Позолоти ручку, всю правду скажу». Обычное, мол, дело, чтобы цыганки среди леса табором стояли.

— Да я так бобриху прозвал, — насладившись моим замешательством, грохочет дядя Вася. — Че-ерная... ага! Серьги бы ей в уши, бубен в руки — всем-всем бы цыганка! Первую ее, так-скасть, для почина выпустили с бобрятами.

«У него есть знакомые бобры», — я вздыхаю, во мне шевелится что-то похожее на зависть.

— А вот было, — развлекает дядя Вася меня рассказами. — По соседству тут. Явились утречком на ферму доярки. Первым делом насос включать надо: коровы поила просят. А воды-то нет: река пересохла! Что такое? «Ой-е-еньки, перед добром ли, ну-ка, веком река в эту пору не перебегалась», — охают, галдят наши бабы. Пошли проверить. «Гляди-и... запруда сделана, из сучьев да поленьев!» Бобры... они! они! Без воды ферму оставили! А то еще было. Прибегает Микэла Сеношонок в деревню: водяного, грит, видел. Рыжий, грит, зубы, грит, у крошечника красные, хвост в рыбьей чешуе!

Плывут берега. Стучит мотор.

Шалаш косарей, крытый сеном, под группой деревьев. Развалины избушки у крошки ельника...

— Чья? — киваю я дяде Васе.

— Охотничья! — гаркает он вострепнувшись. — Бывал тут один костромской. Захаживал... да-а! Мы с малолетства при ружье, но уж костромской этот... О-о! Ишь, среди лесу, избу отплотничал. Из Костромской области сюда навадился. Сто четыре, грит, медведя взял, после и счет потерял. Леса у нас были... что ты! Сколько лет их рубили, едва вырубил! Зверя что было, птицы что, — будет ли когда, как раньше-то?

Можно думать, были здесь великие леса: который час плывем — ни деревни, ни пашни, окликают нас кукушки с осин, и летят, летят впереди лодки кулики.

Тесней сближаются берега. Куда ни посмотри — пни, срубленные бобрами деревья. Без пил и топора перевели-таки лесов четвероногие дровосеки! Правда, лес бросовый, никудышный. Снят давно урожай золотой: миллионы кубометров первосортной древесины дала Ихалица с притоками. Дала и растит и холит второй урожай — бобровых мехов. Так стоит ли жалеть забракованный лесорубами осинник и мелкий ивняк?

* * *

На реке глаза слепнули от блеска воды, а по ручью Каменка — сумрак сырой, небо в завесе хвон.

— ...Сучок выдал! — Ломится дядя Вася сквозь чапыжник и бурелом, как лось, едва я за ним поспеваю.

— Гляжу, сучок плывет по ручью-то. Бе-еленький! Эге, думаю... эге! И пошел, пошел я берегом. Н-ну, откуда ты взялася, белая палочка? Вскоре и зашумело: что тебе гидростанция...

Впрямь, впереди зашумело.

Обширная затопленная водой рощища. Постой... постой! Не ураган ли здесь пронесся, вповалку уложил деревья — вкривь и вкось, вперехлест вершинами?

— Во диво так диво! — орал дядя Вася. — У-ух, хорошие у меня ребята!

Хаос сучьев, стволов, беспорядочное нагромождение валежिन... И еще утверждают, что бобрам присущи высоко-развитые инстинкты!

Постепенно привыкал взгляд находить в дикой путанице поваленных деревьев, — а их, вероятно, тысячи, от громадных осин до тоненьких ивин, — в этом нагромождении древесного хлама нечто целесообразное, порой казалось, и осмысленное.

Плотина через ручей. Длина запруды метров полтора-ста, ширина в основании — не менее трех. Псниже еще плотина. Плотно собраны запруды из сучьев, бревен, сверху придавлены камнями. В фундаменте песок, подгребенный словно бы бульдозером. Щели замазаны илом, затыканы дерном — путь потоку только с водосливов. «Плечи», береговые упоры плотин, держатся на деревьях, как нарочно

посаженных у ее границ. Быки у плотин тоже есть — жердье, настланное параллельно потоку, причем нижний конец каждой жердины воткнут в дно... Расчетливо сделано!

К лесу прокопаны каналы.

Вот хатки, бобровые домики. Их два: один побольше, примерно в рост человека, второй — пониже. Снова сучья, дерн, утрамбованная земля, ил, ссохшийся и затвердевший в камень. Да медведю в такую хату не забраться! Внутри домика, известно, порядок: в прихожей бобр отжимает с шубы воду, причесывается, смазывает шерсть жиром, будто напوماживается, и чистенький, гладкий идет в верхний этаж: там пол стружками, сухой травой притрушен, там его спальня, детская с бобрихой и бобрятами.

— Хор-рошие у меня парни-то! — гремил дядя Вася оглушительно. — Не похулишь! Бригадой работают: двое лес валят, двое плавят, пятый начальник. Ручки махонькие, скажи тебе, как в кожаных перчатках. Резон дает, знай, поуркивает. Поуркивает, за пятерых на плотине старается, ремонт правит. Посмотрел я, душой возликовал, как гаркнул: «Хор-рошие у меня ребята!» Ох, они в воду и поскакали.

Ну да, он гаркнет, тут в воду и не бобер свалится!

Поденка летала. Пеночки заливались в кустах.

Рыба пускала круги по пруду...

И пруд немалый — разлился у плотины на несколько гектаров.

Ходил я по бобровому поселению и вызывал в воображении картины скрытой жизни его хозяев. Виделось мне жаркое лето, в зелени трав, в духоте папоротников, хвощей и цветущего лабазника, когда в лунные ночи млеют осиянные колдовским светом орхидей-любки, мохнатые тени толпятся по ельникам, и бобры затевают игры на пруду. Шум, плеск. Через голову кувыркаются, шлепают хвостами. Строители плотин, инженеры, архитекторы в сравнении с прочими зверьми — и на тебе, под луной покинула их степенная важность, резвятся, как школьники на перемене!.. Потом виделась мне осень, когда осины осыпают на пруд груды жесткой листвы. Пора страдная, — корма запасать надо бобрам на всю зимушку. Забывают об отдыхе трудяги: десятки и десятки кубометров сучьев, разделанных на поленья стволов осин и ив скопляются в воде у боб-

ровых хат. Мороз закует льдом пруд, снегом засыплет лес — бобрам и горя мало, в тепле спят да кору жуют! Зимой при-
важиваются к поваленному осиннику лоси, того больше зайцы. Там, глядишь, волки по их следам набежали, рысь или кума-лиса: с непередаваемой отрешенностью горят из хвонной мглы хищные зрачки, впиваются в твердую корку снега когти лап, изготовившихся к прыжку... Весна, наконец, запригревало. Поползень засвистал у дупла. Выходят бобры из нор и хаток через отдушины и промоины во льду. Вода ручьем струится на снег с намасленной шерсти, смерзается наледью. Кое-где берега точно горы-ледянки — мальчишек бы сюда с них кататься! Но глушь окрест на десятки верст, но некому подивиться на звериный городок с его четким порядком и трудовым режимом, с его хатками и каналами, плотинами и нагромождением поваленных деревьев.

Некому-некому: ветер гудит в кронах елей и птичка-поползень свистит, лазая по стволам деревьев вниз головой...

А иметь знакомого бобра? Ладно, обойдусь пока так. С человеком подружиться, и то сперва пуд соли с ним съешь. Бобры же... За компанию с ними осиновую кору глотать — слуга покорный!

Не нарубить ли для них ивы? Любят они ивовое корье.

Нельзя. Не примут наверняка подачку: своя у бобров гордость. Ты им ивняку, осин нарубил, да не к месту, они возьмут и бросят поселение.

Они труженики. И характер такой у них: сами, они все сами. Запруды строят и хатки. Каналы копают и деревья рубят...

Спору нет, хорошие у дяди Васи ребята: зубы стамеской, хвост веслом!



ЮНЬ — ЧЕРВЕНЬ



Темнеет только ближе к полночи. Светог заката магов, зыблется, отражая проблески росных капель. Над лугами, где будит кого-то коростель-дергач, хлопают крыльями козодои, шныряют летучие мыши.

Днем — крик кукушки, парная духота сосен. Днем — дожди. Шумные, торопливые. Со сполохами молний и раскатами грома. Если дождь и солнце, то говорят: «Царевна плачет»...

Перволетье. В ходу красные цветы, смена белым, весенним. Распускается шиповник в начале месяца — нетерпелива «роза Севера»! Или хочется ей застать соловьиные песни?

Приходит июль в пенных кружевах рябин, манят его в луга красные гвоздики, розовые раковые шейки, а уходит, когда под резным листком начинает зреть земляника, лесной душистый подарок.

В поле, по лесам и кустарникам — везде и всюду теперь детский сад. Весной пеночка зеленая по пятьсот песен в час без усталости высвистывала, не боясь натрудить голосистое горлышко, а нынче недосуг ей потешиться: в клюве-то

Не солоно хлебала! Ни с чем
убирается кошка со сквореч-
ника..



червяк, либо муха. Сыграла певунья утреннюю побудку и за работу, птенцов кормить.

У лисицы детишек до дюжины. Беспечны баловники: не проследи мама, готова потасовка. Ох, глаза да глаза за ними надо! И какой глаз — по поварешке. Вылезут глупые из норы, давай проказить, играть. А рысь тут как тут, ястреб тут как тут. Долго ли до беды? Стережет пору старая лиса неусыпно. Ночами, когда малые спят, промышляет добычу.

У лосихи один лосенок. Но тоже уж сокровище: сунул-ся мокрым носом в муравейник. Просили его, да? Муравьи насели, ну его щипать, кислотой поливать. Свету белого лосенок не взвидел, сослепу стук лбом о пень. Вот и шишка!

Лижет его мама, мычит: не носись сломя голову, не сяди синяки — ты ж лосенок, не баран бодливый!

Озимь колосится. В нетерпении грибники: на ржи колоски — в лесу грибная свежинка. После апрельских сморчков длилось межсезонье, и вот-вот объявятся колосовики-подберезовики. Во всяком случае, надо корзинки держать наготове.

«Июнь — на рыбку плюнь» Неправда же! На глубоководную дорожку берут щука, крупные окуни. По ночам клюют лещ и язь. На быстрых речках, где водится хариус, идет лов его на удочку с наживкой из лётных насекомых.

В прошлом об июне горькая шла молва: «Июнь, в закрома дунь. Поищи, нет ли где жита по углам забыто. Собери с полу соринки, сделаем по хлебце поминки». В самом деле, редко у кого по деревьям к июню не истощались хлебные запасы. А до урожая далеко. И будет ли урожай? Плелись старухи с батожками за околицу после заката. Заклинали, в голос слезно причитали: «Ветер-ветрило, из семи братьев Ветровичей старшой брат! Ты не дуй-ка, не



«Дай, дай!»—кричат, тянутся к вам птенцы дрозда к маме, прилетевшей в гнездо.



Щука... А и верно, в пасти зубов поубавилось, так как щука летом зубы меняет.

плюй дождем со гнилого угла, со запада... Ты подуй-ка, из семи братьев Ветровичей старшой брат, теплом теплым, ты пролей-ка, Ветер-ветрило, на рожь-матушку, на яровину-яровую, на поле, на луга дожди теплые, к поре да времячку. Ты сослужи-ка службу мужикам-пахарям на радость, малым ребятам на утеху, а тебе, буйному, над семерыми братьями на большему-старшому, на славу!»

В XVI—XVII веках велся диковинный обычай. 22 июня в Кремль «пред светлые очи» царя представал звонарный староста московского Успенского собора с докладом: «Отселе возврат солнца с лета на зиму, день умалется, а ночь прибывает». Неутешительная весть — середь лета, ну-ка, солнце на зиму поворотило! И звонаря немедленно запирали на сутки в темницу на Ивановской колокольне. Стало быть, солнце царю не угодило, а звонарь виноват!

«Червеном» слыл июнь в древних месяцесловах. «Червень» — значит «красный». Этот цвет считали победоносным на Руси издавна: под стягами червлеными, блистая строем копий и шоломов, неся червленые щигы, отправлялись дружины сражаться и умирать за отчужденную землю. И сколько ворогов-супостатов хаживало на Русь, да могилы захватчиков лебедой заросли!



Самый жаркий день был в 1921 году, и предвещал он засуху, негод: среднесуточная температура перевалила за $+16^{\circ}$. Жарчей было, чем в ином июле!

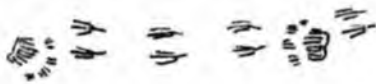
Ландыши, ландыши — ну-ка, когда можно принести из рощи душистый букет? В 1957 году под Вологдой ландыши начали цвести 15 мая, в 1908 году — лишь 23 июня, на две недели позже обычного.

Рожь колосится, как правило, ближе к 10 июня. В знойный 1921 год она показала колоски даже 19 мая.

«Ой, цветет калина в поле у ручья!». У нас под Вологдой это бывает во второй декаде июня. А самое раннее цветенье калины отмечено в 1930 году — 22 мая.

В конце июня всего верней бы выходить в лес с лукошком за грибами, но в 1920 году подберезовики появились 6 июня, зато в 1936 году только 22 августа.

Кто, где? Куда и откуда?



РЫСЬ — в крепях таежной глухомани появились рысята. Под логовища занимает вывороченные пни, бурелом, расселины в камнях, пещеры оврагов.

НОРКА — обзавелась потомством. Ее угодня — мелкие захлащенные речки с обрывами в омут.

БОБР — по спадающей воде предпринимает переходы на лет-



ний выгул, «на дачи», и для того, чтобы завести новые поселения. За ночь вплавь и пешком преодолевается путь в 50—60 километров. Так с тотемских речек Комраз и Пексом бобры перешли в Сямжу и Тарногу, за Сухону в Бабушкинский район.

ПЕРЕПЕЛ — с закатом солнца выкликает: «Подь-полоть! подь-полоть!». Перепелка, полевая ку-

рочка-малютка, кочкает кладку, состоящую из 10—12 яиц.

ГОГОЛЬ — как утят из дупла переправить, если дерево высокое? Бывает, что пуховые комочки, нос башмачком, сами отзаживаются выпрыгнуть, бывает, что гоголюшка утят переносит на землю в клюве.

ЖУРАВЛЬ — журка на гнезде. Журавль вышагивает возле нее — самодовольный, важный, лысинка на затылке отсвечивает. Это он очереди ждет: насидивают-то они по очереди.

КРОНШНЕП — самый крупный у нас кулик. Дик и пуглив, все замечает, никого не подпускает, поэтому лучшего сторожа для меньших куликов, обитающих в лугах и болотах, не найти. Статен, ладен кроншнеп, а клюв длинный и изогнутый, кривой. То и беда, что кривой: воды по-птичьи не напиться! Как ложечкой воду кроншнеп зачерпывает, по капельке пьет, голову запрокидывая набок.

ФИЛИН — гнездо на земле, под корневищами, у подножья старых деревьев в хвойниках. Птенцы — их 2—3 — в пуху, как в шерсти, и напоминают зверюшек. Рты плят, есть просят. Запоздай филины с едой — друг друга эти птенчики сожрут!

СЫЧИК — кроху ладошкой мож-

но накрыть: среди сов он и точно воробей-воробьем. Примерный семьянин воробьиный сычик: совушка в дупле наседкой, он мышью словит, ей принесет — не угодно ли, сударыня? Не угодно, — мышка складывается про запас.

СВИРИТЕЛЬ — кому от комарья спасения нет, а нарядный красавец свиристель, щеголь таежный, птенцов целиком перевел на питание комарами.

ПЕСТРУШКА — садовую эту птичку мухоловкой зовут, но одnodневных птенчиков выкармливает соком пауков, двухдневных — целыми пауками, гусеницами, пятидневных и старше — комарами, бабочками, жуками прямо с крыльями. Ничего, мол, подросли, не подавятся.

ЩУКА — наполовину вывалились зубы, клыки нижней челюсти, и... хватает рыб, какие покрупнее по омутам да заводям! И верно, не голодать же, раз она все лето зубы меняет.

ГОЛЫН — рыбешка таежных быстрых и прохладных речек, ручьев. Продолжает нерест, франтом плавает на мелководье, перекатах — бока отливают золотом, плавнички и брюшко — чернь с кармином.

РАК — линяет, забившись в норку.

ЖЕЛТОРОТИК

Давно ли птицы хлопотали о гнездах, по пруту, по перышку собиравшись строительный материал! Клок мха, листок, сухая ветوشь прошлогодней травы, даже паутинка — все шло в дело. Один зяблик, я видел, подбирал у автобусной остановки использованные билеты, и туда же их — на стройку.

Когда в гнездах птенцы, новые заботы, новые волнения: прокорми-ка желторотую горластую семейку! Задача нелегкая. «Рабочий день» у скворца летом около 17 часов, у синицы — 18, у горихвостки — того больше, длится за двад-

цать часов. На место присесть некогда. «Дай, дай, дай!» — с утра до ночи надрываются птенцы. По двести раз на день прилетят к гнезду скворец, почти шестьсот раз мухоловка, и все мало и мало: пищат детишки, тянут клювишки.

В гнезде птенцы прожорливы, но покинут его, станут слётками, гут уж их аппетит вообще не находит сравнения. В гнезде желторотики могут поголодать, перетерпеть, зато слёткам еду только подавай.

Сердито нащелкивая клювом, обследует мухоловка березовые висячие ветви, выуживает из листвы комарье, мошкару. Щелк — и пропал комарик! Возле отцветших одуванчиков суетится чечевица, с багряной шапочкой на тмени и красным нагрудником. Подлетывая, бегаёт по пашне скворец...

Не сами птички съедят, что добудут, слетков в первую очередь нужно накормить. Пока-то они научатся добывать пропитание!

И что интересно отметить: крик голодных птенцов понимают не одни свои, родственные, что ли, птицы, но и совсем даже чужие, причем дело иной раз не обходится без курьезов.

...Поезд надо было ждать. Утомленный ночным переходом с лесного озера, я вошел во двор ближнего к станции дома. Было рано, хозяева спали. Достал воды из колодца, напился и сел на крылечке в холодке.

Отдыхаю. Лямки рюкзака не режут плечи, таежный гнус не липнет к лицу...

Стрижи с визгом чертят небо над водокачкой.

Зазвонил колокол, и вот уже летит, бодро постукивая колесами по рельсам, мимо станции состав с порожняком.

Шум спугнул ворону, бродившую по насыпи. По-видимому, она подбирала объедки, выброшенные из вагонов.

Ворона опустилась во дворе у помойки. Не успела серая сложить крылья, как откуда ни возьмись маленький воробушек. Должно быть, в крапиве хоронился. Куцый, взъерошенный, с пленочкой у тупого клюва. Выкидыш. Из гнезда выпал, наверное. Нелетный. Таращится, перья ершом, трещит во все горло — и бочком, бочком скачет к вороне. Ему бы дальше от вороны в крапиву лезть, а он к ней бочком да бочком. Рот раззявлен в крике, язык дрожит.

Ворона что-то откопала у помойки. Придавила черной морщинистой лапой и клюет. И нет-нет и скосит темным

блестящим зрачком на глупого птенца. Воробейчик на мокрый от росы, слипшийся хвостик осел, крылышки распустил, верещит без умолку: «Дай, дай, дай!» Просит его накормить.

Нашел у кого кланчить — у вороны!

Даст она тебе... в темечко разик... Ты и лапки врозь! Руки невольно потянулись к удилищам, прислоненным к стене дома. Если что, так и быть, не дам глупыша в обиду.

Хрипнет воробушек от крика. Ворона, знай, теребит свою находку, насыщается. Это она селедку потрошит. Отдерет кусок и проглотит. Рядом с ней воробушек на тонких ножках — сморчок-сморчком. У вороны черный каменный нос — долбанет, дух из воробья вон. Поворачивается она к нему плоским черным хвостом, так нет, дурачок все норовит ей под каменный нос подскакать.

Вдруг ворона отодрала кусок от селедки и сунула его в разинутый желтый рот воробья. С таким видом, будто сказать хотела:

— На... на! Подавись!

Это называется: допек!

Накормила... Ворона — воробья!

Он сразу умолк. Трепеща крылышками, заглатывал подачку.

Я от неожиданности привстал, чтобы получше эту диковинную сценку рассмотреть, но ворона по-своему истолковала мое движение и, подпрыгнув, распахнула крылья. Улетела. Обратно к насыпи.

Воробушек скрылся в крапиве у забора.

И опять только стрижи с визгом чертили туманное утреннее небо, только петухи драли горло по соседним дворам...

ТЕТЕРЕВИШКИНА ШКОЛА

Солнечная поляна. Ветер насыляет запахи земляники. Смыкаются и размыкаются тени берез. И не отсюда ли бьет зеленая кровь, растекаясь по смуглым загорелым сучьям — и широко, привольно, и высоко, чуть не до перламутровых облаков?

Струится по ветру листва, смыкаются и размыкаются тени...

Под вечер сюда пешком приходит тетеревиный выводок:

рябая с желтым горлышком мать-старка и пятеро ее цыплят в пестроситцевых платишках-перышках.

Белые березы становятся партами.

Требовательно закокотала старка: ко-ко... ко!

По-одному тетеревята вспорхнули на березы. На сучья пониже для начала. Поршки они, летать только учатся. Пугает их, кажется неодолимым путь через поляну. Клювы разинуты. В жар бросает учеников в пестрых перышках.

А надо когда-то делать первый шаг в воздух. Надо кому-то решиться быть первым.

Переступают они цепко по сучьям, водят головками. Страшно! Страшно довериться воздуху.

Перебирал один тетеребенок лапками... Оттолкнулся! Ветка спружинила, подбросила его, будто трамплин.

Часто-часто махал тетеребенок крылышками. Они его плохо держали. Кувырком шлепнулся в траву, на лету загнувшись о высокую былинку.

— Ко-ко, — подбадривала старка. — Ко-ко!

Вся поляна длиною на добрый взмах крыльев, да крылья-то у тетеревят еще махонькие, розовые, по-цыплячьи неоперенные подмышки, — с первого раза никому не удалось поляну одолеть.

Жалобный, рвущий материнское сердце писк, — плутают поршки в траве, устали, переволновались.

Все равно урок продолжался. Тетеревята, под одобрителное и строгое поквохтыванье старки, вспархивали с сучка на сучок, забирались все выше. Постепенно то одному, то другому удавалось пролететь поляну из конца в конец.

Походя поклевая зеленцов земляники, тетеревята возвращались к березам-партам. Без видимой, правда, охоты: волочили распушенные куные крылышки — так ребятишки волочат портфели и ранцы по тротуару, идя на трудный, но неизбежный урок...

ЗА СИНЕЙ ПТИЦЕЙ

Окно заслонено березой со скворечней. В щелку кровли смотрится бледная звезда.

По приезде сюда я всегда прошусь ночевать на чердак. За день убродишься, а спится и не спится в слабом мерца-

нии щелей в крыше, под поскрипывание стропил. Ломит старые кости у стропил, вздыхают они, как бабка на печи. Старые-старые бревна старой-старой избы.

Не выветрился из ее стен деготный запахок лучины, добрый дух зимних деревенских вечеров, когда собирались посиделки, жужжали в проворных девичьих пальцах веретена, огонь светца дробился в заледенелых разводах стекол и жарко вспыхивал в зрачках: чу, не гармонь ли проиграла? Вваливались парни — вышитые рубахи, витые пояса с кистями, тальянки — малиновы меха. Ну-ка, сударушки, пресницы под лавку! Колоколом раздвигались сарафаны, лоповицы трещали от лихой кадрили, гармонь не поспевала вторить каблукам! А за окнами ночь плыла, снег искрился, луной омытый. Морозко окрест по лесам постукивал, под елочки, под кустики поглядывал, искал кому сказать: «Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная?»

Помнит, все, поди, помнит старая изба. Скрипит, вздыхает по ночам...

На задворках — заболоченная рощица. Один прок от нее: веники в баню ломать, зато соловьев — сила несметная. Щелкают, рассыпаются, дробят, да разом, да на двенадцать колен, кто пуще жару поддаст!

На жестких ресницах елок запоблескивало: проняло их, расчувствовались!

И бревна скрипят, вздыхают...

Старые-старые бревна. Старой-старой избы, — в ней теперь обретается лесничий Александр Александрович с женой, сельской фельдшерницей Валентиной Васильевной, и маленькой дочкой Катей.

Знаю, утром раньше всех поднимется хозяин, первым делом отворит ворота повети-сенника, чтобы выпустить ласточек, поселившихся в сарае. Будет лужок в росе. Самосвал промчит большаком. Кошка пройдет по изгороди, ворожа дожди...

Скрипят бревна. Старые-старые. Они не жалуются, у них привычка такая — по ночам вздыхать, вот и все.

Соловьи хлещут на каменку...

Разве уснешь?

Я ухожу. Ухожу на Пажу-реку. Вся ночь моя, все соловьи.

Соловьи из самых северных: где есть они, там русские селенья, где они реже и реже, там рубеж Карелии. Удивительный край!

Кто хоть раз наезжал в Прионежье, того снова завлекут синий разлив озера, в бурю подобного морю, ручьи с форелью и тайга. Тайга, тайга, лес трущобный: «там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит».

Оторопь охватывает, когда попадаешь в чащу. Тихо: до звона в ушах тихо, паутина оплела сучья и вязнут ноги во мхах... Такой дремучий хвойник подступает к седой от пены, порожистой Хмелевице. Привал мы тогда делали на хуторе у Лук-озера: явились под вечер, смотрим — медведь ходит у поваленного прясла изгороди! По преданию изустному, в Лук-озере живет щука, от старости белая. Рыбаки говорят, с лодку, во страшилище! Знаю, соврут, не дорого возьмут, медведь же на лужке — истинная правда, и по воду отправляться к ключу приходилось с ружьем.

Захолустье.

Пустые одно- и двухэтажные избы. Которые заколочены, у которых двери настежь полые — приходи и расподагайся. Былины бы послушать, сказанные про Китеж-город, да не живы давно бородачи-старики, покоятся под сенью замшелых крестов, а завадинки тетерева выпорхали, налетая из полей.

Поля сырые. Хвощ и конский щавель. Камень на камне, поля и заброшены, не пашутся.

Как увидишь отпечаток копыта, знай, то не конь богатырский прошел, лоси наследили...

Корб-ручей, Та-река, Аж-ручей, — поскитался и я с удочками, с ружьем по этой обезлюдевшей окраине. А видал ли наскальные росписи Бесова Мыса? Нет. И в Лук-озере не удил: времени было в обрез. И синей птицы не слышал. Родом она из Сибири, вдруг объявилась в Прионежье — синяя-синяя с белыми бровями.

Не видал, не слышал...

И нет пока доступа в тайное-тайных дивного края. Не подысканы ключи, не найдены заветные слова.

Старый, верный Вайнямейнен
Не нашел три нужных слова, —
В Туонеле их не добыл он
И в жилищах Маны мрачных...

Чтобы добыть заветные слова, герою «Калевалы» пришлось для похода заказать у кузнеца обувь из стали и железную рубашку.

Конечно, железные сапоги — стоящая вещь, не отказался бы!

* * *

Стужей напирает с озера.

Перволетье. Канун белых ночей. Кадит сосна духмяной пылью. Черемуховый цвет бьют последние заморозки.

Иду знакомыми по прошлым приездам полями, минуя остожья, перелески, и такое у меня ощущение, будто ступил на порог знакомого дома. Постучаться, — отпрут ли? Или уж забыли: с глаз долой, из сердца вон?

По крутым берегам Пажи лепятся сосны, впившись корнями в гранит, не выпускают реку из окружения.

Рано. Самая темнота. Всех звуков — пережат болтливым перебивает камушки, и капли росы чикают по листьям. Поэтому до боли резнул по ушам этот внезапный свист, заставивший меня отступить в кусты.

Показалась семейка выдр: буро-седая мать и трое выдрят, вертялых и коротколапых. Юлят в траве, возню подняли. Малыши, поди, впервые покинули нору. Один выдренок вывернулся из свалки, вытянул хвост и — ныром по береговому откосу. «Бух!» — вода зашлась кругами.

Второй выдренок скользнул вниз на животе, третий: гравя росистая, мех у выдр гладкий. Раз так, мать тоже припала на брюхо. Соблазнилась залушки с маленькими покататься. Здорово шлепнулась в омут, печенку, поди, отбила, дуреха!

Березы белеют. Роса чикает по листьям.

На берегу мятая трава и узкие в ней желобки, где звери, как на салазках с горы, скатывались в омут. Я трогаю сломанные, помятые былинки. Ледяная роса жжет ладони. В глазах все стоит выдра-мать, как она поводила плоской, с плоскими глазами головкой, длинный мощный хвост ее почему-то напоминал хвост кенгуру, усы были сивые, жесткие и спина поднималась горбом, когда старуха, сморщив нос, свистела на проказливых детей.

Чудится мне, скрипнула дверь в лесную укромность, приотворилась на малую щелку: кто там?

Студено. Как солью, траву пересыпал иней. Ольхи съжились, с листьев простуженно каплет. Черемухи на про-свет прозрачны, как кружева, и будто дым темный, хвой сосен, запутались в ней волокна тумана.

На переломе ночи крепче нажал заморозок, смолкли соловьи. А и без них что творится в сером, не проспавшемся утре! Дятлу срок отошел, да нет, лупит клювом по сущине: др-р-р! Ей, ей, насквозь дыру пробьет! Дикий голубь-витютень хмельно языком заплетается, воркует, как в дуду подает: «Микита-дитя, под кустом сижу, капусту крошу — тут». Филин, перья дыбом, носится сам не свой вдоль приболотья и хихикается визгливо — ошалел, очумел. Тетерева — брови раскалены, рогатые хвосты веером — бормочут и чуфыкают. Дрозды, овсянки, камышевки, уге-мона на них нет, — свистят, трещат, чивкают, трелят...

Выдели-ка из лесного многоголосья синюю птицу?

А с Пажой-рекой меня свел Ефимушка. Борода седая, неизменный посошок, спина горбится — обличье у Ефимушки деревенского деда, тароватого на байки лукавые да усмешинки. Впрямь Ефимушка не прочь навести колеры поцветистей на свои лесные похождения, притом раздумчиво смаргивает под очками: неуж сомневаешься, милоч?

Между тем, жизнь его точно легенда. Рос сиротой. В Соловки в монастырь отдали. Бежал. Скитался и еще мальчонкой прибился к Чапаевской дивизии...

Он один из первых авиаторов Севера, когда-то песни про Ефимушку складывали. Ему покровительствовал Горький. С Багрицким хаживал Ефимушка по северной тайге, когда поэт приезжал в Вологду. Водил его по тем лесам-суземам, которые теперь в притчах, переплетая быль и небыль, наде-ляет душой живой и трепетной, как песня. Нет той глухо-мани, где башнями высятся исполинские муравьища, в гро-зу шаровые молнии сокрушают мачтовый сосняк, по мхам вырочно выслеживают охотника свирепые рыси, а где-то на укромной поляне ветхий пасечник под перебор гуслей ведет стих про Китеж-град, — нет тех лесов, да что за дела, втайне хочется верить, что гусляр тот и меня ждет — отшельничья борода по рубаше!

Один я на Паже. Ефимушка пенсионер, здоровье хла-мит. А небось порассказывал бы о своем житье-бытье. И

будто слышу я его, слышу сквозь молчание леса, шорохи трав и хвои:

— ...В Москву за начхозом увязался, вроде бы порученцем — вестовым. Обиваем пороги учреждений: так и так, чапаевские полки раздеты, разуты, хоть бы сотню комплектов обмундирования бойцам к зиме выделили. Одна нам резолюция: вы, что, одни воюете? Худо было, бедно и голодно, чего ни хватись, всего недостаток. Дошли мы до Кремля: к Ленину за помощью обратимся. Начхоз ходы-выходы знал. Долго ли, коротко ли, получили пропуск. Провели нас в приемную председателя Совнаркома. С Ильичем вышла Надежда Константиновна. Покачала головой, показался я ей, видно, совсем зеленым мальцом. Сует она мне в карман что-то. Я не на нее, на Владимира Ильича смотрю: Ленин... Ленин! Бойцы после спросят, какой он, — что отвечу? Позвонил Ильич по телефону, переговорил, прощается за руку: «Будут вам и валенки и полушубки». Выходим мы довольнехоньки из Кремля. Тогда я догадался посмотреть, что у меня в кармане. Глядь, сахарок в бу-мажке. Так случилось и в хатах на постое. Нет-нет и ка-кая-нибудь сердобольная хозяйка даст ломоток ситника, того же сахарку, — они, наши-то русские женщины, все на одну стать, сироту, милоч, нутром чувят!

Я углубляюсь в лес. Красногрудая птица провожает меня по берегу, надоедает пискливыми вопросами: «Витю видел? Ви-и-дел?» Другие отстали в лугах, ей все неймется: «Витю видел?»

Высоко стороной протарахтел вертолет.

Донесся гудок локомотива с узкоколейки.

Скоро, видно, к Паже лесорубы подберутся, рядом их делянки.

* * *

Узловатый поток разливался на плесы и, суживаясь, исчезал под нагромождением валежин, сучьев, натасканных паводком, чтобы вынырнуть оттуда, устояться в заводи и сызнова затеряться — теперь среди замшелых глыб гранита.

Камни и камни: больше камней в реке, чем воды.

С риском выкупаться, я закидываю удочку с камней, с топляков-колодин, в омута и на быстрину. Только бы щуки не клевали... Что угодно, только не щуки!

Щуки в Паже — «голубое перо». Однажды они упорно брали на червя. Острые игольчатые зубы перекусывали поводки и, раззявив хайло, как в ухмылке, вытащенная наполовину из воды щука шлепала плашмя хвостом, уносила и за ней летел обрывок лесы.

Помимо щук, есть налимы, полно гольянов. Мелочь — гольяны, берут численностью: порой сплошь устилают дно. Шевелятся, подвивливают. Черные, скользкие. Полное впечатление, что ожили мхи, подводные осклизные травы.

Леска ушла в глубину: там ил дрожит, струится бархатным ворсом, там ползают в соломенных хоромах поручейники и под корневищами прибрежных деревьев, в нишах, прорытых течением, прячутся форели.

Заприпекало. Воздух густел. Он коричнево-бурый, терпкий. Стеклом отсвечивает хвоя. Во влажной теплоты вязнут лучи солнца. Один уперся в росную каплю, приник и лалит и жжет. Второй, коснувшись коры березы, растекаясь живое розовое и смуглое пятно.

Распускаются ландыши. Тьма их тьмущая! Процеженная запахом ландышей, едва-едва теплит горьковатая истома черемух, очищается горячий угар березовой коры, добеда раскаленной на пригреве.

Весной ландышу начало положила воронка на голой студеной земле. Бледно-зеленая воронка листьев. Она собирала, запасая для корня тепло дождей и солнца. Со временем листья развернулись. В две, три зеленые и узкие ладони, тонкие и нежные. Сложенные ковшичком, как будто опять же солнце, той же влаги дождевой пошире зачерпнуть, ладони в назначенный срок выпустили граеный стебель с белыми, скромно потупленными колокольчиками.

Не звенеть колокольчикам. Хрупким, словно отлитым из фарфора, не звенеть, не звенеть — хранят ладони от ветра махонькую лесную звонницу!

Раскатисто гремел водопад с камней, взбивая хлопья пены.

Выплеснулась из омуты рыба. По бокам черные и оранжевые крапчины, как у ночного мотылька — выпорхнула форель над водой легко, как на крыльях.

На ландыши она посмотреть? Тянутся, умоляют зеленые ладони: гляньте, диво-то держим! Ах, не вырвалось бы!

Меняю омут на омут. Продираешься сквозь кусты, и то удилищем застрянешь, то леса зацепится за сук, то крючок. Обрывисты берега. Мрачны прогалины под нависью хвои и листвы. Не проникает свет в хвойные пещеры, обиталище гадюк: ощупываясь вокруг раздвоенным языком, змеи точатся под камнями. Плечами передернешь от безразличности, когда гадюка, аспидно-черная, в мелкой чешуе выскользнет из-под самых ног. От сырых испарений, напитанных дурманом папоротников и хвощей, першит в горле...

* * *

Кочка застлана газетой. Толстыми ломтями нарезаю хлеб, с котелком ухи пристраиваюсь в развилке стволов прибрежной ивы, точно в кресло.

С черемух душистой порошей осыпается белый цвет.

Обедаем с куличком-перевозчиком. Я за ухой сижу: наваристая, ароматная, одно слово, форель! Куличок — с камешка на камешек пробежкой, поручейников с камней сощипывает и долбит. Одного раздолбит, двух да трех обронит в воду. Ножкой их, ножкой приступит!

В нескольких шагах от воды пенек. Мох на нем подушкой, дрозд там угнезвился. В круглой, слепленной из древесной трухи и глины глубокой и плотной чашечке. Сидит: хвост налево, нос направо. Пугливо сжался, голубых яиц живой инкубатор.

Инкубатор? Ну да. И, конечно, гастроном. Птенцы выведутся, на радостях то-то им снеди дрозды нанесут: червячков, буканов разных, гусениц! Еще дрозды для птенцов — зонтик. Зной пекучий, или, напротив, дождь — дрозд на гнезде крылья расправит, чтобы птенцов не помочило, чтобы не приключился с ними солнечный удар.

Но помимо всего, дрозд, по моим замечкам, может служить компасом — для нас, удильщиков-рыбаков.

Раз была у меня чашечка знакомая, тоже на пне, и птичка в ней сидела — нос налево, хвост направо. В шутку и всерьез у пня я сверялся, удачно ли сложится у меня рыбалка. Все в том, что гнездо, раз оно на пне, открыто ветрам, а птичке не радость, если под перья ей дует. Волей-неволей дрозд поворачивайся грудью к ветру, клювом показывая его направление, как стрелка компаса — север. Меняется ветер на западный, жди дождя. А перед ненастьем

рыба. извини-подвинься, на твоих червяков чихать не хотела, в омуты прячется и не клюет, хоть пропади на реке!

Очень дороги эти подробности потаенных повадок, что живой связью ложатся между тобой и лесом, рекой, полем, — без них они глухи, немые, нет тебе ходу за порог.

Дрозды — все для осени. Осими не зелены в багряных осиновых перелесках, дымок пастушьего костра не заметен на стерне, где скот пасется, и небо не голубеет в штиях летящей паутины, — если не кричат дрозды. Услышишь их. Незабываемо войдет в тебя грустная поэзия осени деревенской: где бы потом ни был, позовет она тебя — к серым пыльным большакам, к гумнам близ заполя, и к избам, серебряным от инея, и под сень золотых лесов!

Как дрозды для осени, так снегири для зимы, русской зимы с ее ядреным морозом, скрипом полозьев по укатанной колее и белыми снегами. Румяный снегирь на запыленном придорожном кусту — этакий ухарь в кумачной рубашке, стужа ему не стужа, раскраснелся и серенький армяк нараспашку!

А синяя птица?

Поманила, увлекла и не показалась...

Что родственного найдено ею между нашей стороной и Сибирью? Нигде ее больше нет, кроме лесного угла за Онего-озером. Только за Уралом гнездится и поет, ну еще на крошечном пятачке на Кольском полуострове. Больше нигде. Синяя-синяя. И брови белые, строгие.

За дроздами видится осень, зеленые осими, лужицы, подернутые льдом, избы с серебряными от инея кровлями: за снегирями — зима, бег саней, рыжие дымы из труб... А за синей птицей — что?

Не знаю. Не видел. Не слышал.

А уж мне пора. Время торопит. Мы все торопимся, не когда оглянуться назад, и в этом все дело.

И что-то грустно. И прощаясь, смотрю, как тонкие лучи тянутся сквозь хвою. Они туги и упруги, как струны. Еловые лапы, колыхаясь, обрывают их, сумеречней, глуше делается на Паже, суземной реке. Звончей бурлят перекаты. Проникновенней пахнет водой, смородиной и лапоротниками.

Соловей рассыпал дробь из черемух...

Пажа-река, когда удастся снова жечь костры на твоём берегу? Один был, не с кем было поделиться, как открыва-

лась ты — с ландышами и форелью, с гремучими водопадами, хвойной тишиной и душистой белой порошей с черешух!

* * *

«И-их! И-их!» — надежась в криках, тоскуют чибисы, кружа над лугом.

Бежит Катя, босые пятки в траве мелькают. Мать на работе, отец, бывает, по неделям безвылазно в лесу, девочка день-деньской предоставлена себе. Впереди поспевают домой два пса. Моряк и Дымка, замыкающим кот Тришка. Ступив в мокрое, он отряхает лапки брезгливо. Кате пять лет, есть у нее еще Васька-кот, да лежень, все дома на печи. Тришка дымчат и пушист, как голубой песец. Куда маленькая хозяйка, платок шалашиком, ноги в цыпках, туда и кот. Летом по грибы в лес ходят. Всем обществом: Катя, ее псы и Тришка.

— погоди! — окликнул я.

Катя оглянулась. Псы остановились, ласкают зубами, дая под живот: комары кусаются. Водит Тришка белыми усам.

— Скажи, Катя, как твоего котика зовут, я забыл?

— Тлиша.

Картавит Катя. Бейся, не бейся, не выговаривает «р», и все тут.

— А... лишний?

— Не лишний — Тлишка. Тли-и-шка!

Увожена-то Катюша с головы до пят. Одни глаза чистые. Голубые. Два голубых солнышка. Волосы мягкие, как одуванчик, на платок налипла хвоя.

— Понял я, Катя, котов у тебя лишка. Знаешь, мне нравятся серые мохнатые, я твоего в город возьму.

— Нет, — мотает она головой, платок сполз на шею. — Нет! Возьми лучше нашу селую овцу, она шелстнее.

Ай да Катя: забирай дядя с собой серую шерстную овцу — не жалко, баловня-Тришку ей оставь — в лес с ним ходить!

Что удивительного — кот лесной? Деревенька тоже у леса, на задворках соловьи поют. Зато в клуб кино посмотреть — тонай километров пять. И магазин неблизко, и школа далеко от избы, где свет чердачного окна застит береза со скворечней. по ночам скрипят стропила, а при-

слушаться — шумит, волнуется, как море, Онего-озеро, бьет волной в залитые прибором камни.

Глушь, захолустье, и умоляет Валентина Васильевна:

— Саша, уедем! Все же едут... Ребенка хоть пожалей, что она здесь видит?

Ну да, много изб заколоченных, а у Катюши день-деньской одно общество: псы, Моряк и Дымка, да кот Тришка да лес — «там чудеса, там леший бродит».

Отмалчивается Александр Александрович. Он не спит, он много молчит и раным-рано отворяет повесть, выпускающая ласточек с гнезд, и лужок бывает в росе, и где-то бо-галом гремит стреноженная лошадь...

* * *

Пылища. Будто полсвину дороги автобус волочит за колесами!

Едем мимо полей, где сплошь камни, сплошь тупые лбы валунов. Больше камней в полях, чем земли.

Проезжаем деревни, погосты с развалинами часовен и церквей.

Принято, что церковные главы схожи с луковницами или репкой. Репкой хвостом вверх. Также купола сравнивают с шлемами. А в Прионежье, бывало, забудь и репку, и шлемы. Древние деревянные храмы здесь венчали... шишки. Ага, сосновые! Плотники для подражания не нашли, видно, примера ближе, как в форме, внешнем облике церковных куполов повторить сосновую шишку. Округлую, в тугий шероховатой чешуе. Все рубилось из дерева, топором, и купола — не исключение. Их делали из дощечек. Подгонялись дощечки плотно, выходило точь-в-точь чешуя.

Тажная окраина, как красили тебя простодушные, изсам под стать храмы с шишками-маковками! Ог елей-вековух брали они стройность и серые, мытые дождями смотрелись в воды порожистых рек. Горели над ними закаты — будто косяк огненных коней мчал, разметав алые гривы в поднебесье. В белых купырях, в шелковых травах, окруженные дремучими лесами, стояли церквушки долгие века, у стен зрела земляника, на куполах отдыхали чайки с Онего-озера.

Жаль, не сохранились те строения: кажется, едва ли не последняя церквушка сгорела несколько лет назад, и было на ней двадцать куполов.

Дорога пылит. В окнах автобуса мелькают кусты, поля, гумна. Больше камней, чем земли — поля...

Мы с Александром Александровичем направляемся в лесосеки. Свои у него заботы: плохо лесорубами соблюдаются правила, то недсруб, то переруб, делянки захламлены, — в газету их продернуть и то мало.

Кончились поля. Едем лесом. Вернее, тем, что от него осталось. А остались пни. Направо пни, налево пни, впереди пни.

Не то плохо, что лес сведен, пустоши на месте боров, которыми мы еще в прошлом году изумлялись: что за мощь былинная, что за силаща — пучина хвойная!

То плохо, что много древесины зря пропало.

Здесь воз опрокинулся с прицепа на повороте и не поднят. Бревна гниют, достались червям.

Там брошены лежневые дороги. Деревянные они, ровные и прямые, как железнодорожная колея, только вместо рельсов положены брусья, чтобы машине пройти. Взял на прокладку строевой краж. Разобрать бы лежневки, раз необходимость в них отпала, дрова — и то польза. Так нет же, все брошено... Что имеем, не храним, да и потерявши не плачем!

На расстании автобус сворачивает в лесосеки, мы выходим и отправляемся по прошлогодним делянкам.

— Хотите лесок посмотреть? — предлагает Александр Александрович.

Где его найдешь?

Все пни да пни.

Лесничий ложится на землю и через луну разглядывает что-то в траве, кишмя кишящей букашками и муравьями.

Я беру от него увеличительное стекло.

Лес ниже травы... Новорожденные деревца тоньше былинки!

Разметив квадраты метр на метр, Александр Александрович ищет и считает лес. Лес, который травы ниже.

Быть... быть новым борам!

Но ждать надо лет сто-полтораста.

И что с этой окраиной станется к тому времени? Сейчас глушь, канюк-сарыч стонет под облаками, и голо, неуютно, все пни, пни вокруг, а век спустя, всего век-полтора здесь, быть может, город раскинется? Может быть, очень

может быть! Ведь места для тайги скоро вовсе не останется. Так, разве что парки, чтобы походить по траве босиком и привезти домой, как сувенир, сосновую шишку.

Носком сапога я копаюсь в траве. Вот такую шишку... Рассеянно подняв с земли, я разминаю ее пальцами, собираю в ладонь семена и пускаю по ветру. У семечек крохотные крылья. Тонкие и ломкие. И на этих крыльях полетели сосенки в свое будущее.

Каково-то оно будет?



Снежинца — Паже ровня. Камней меньше, сама прочнее и мельче и нет засилья папоротников, зато в остальном по всем статьям речка была трущобная. С водопоями, где на влажной глине расплзались отпечатки голых ступней медведя. С каменистыми осыпями, куда глухари вылетали из клювовных болот клевать дресву. И деревья с берега на берег обнимались сучьями, сосны свешивали густые кудри... Ах, кружились кудрявые головы, заглядываясь на бегучую быстрину! Падали подмытые течением сосны, гремучая вода полоскала буйные их головешки!

Закладывала Снежинца крутые излучки, плутала в чаще, зеленым-зелена под хвойной тенью, упругая, мускулистая на перекатах, ровная, медлительная по омутам с белыми лилиями, с темной, коричнево-синей глубиной и трепетом слюдяных стрекозиных крыл.

Не за то ли ей дано имя Снежинца, что зимой выше берегов ее заметало снегом?

Пни по берегам, пни...

Круги на воде разошлись... Рыба? Здесь? Захламлена Снежинца сучьями, хвоей, пахнет гнилой размокшей древесиной.

Впрочем, леска с собой, черви тоже.

Еще бы удилище! Но где его взять?

Подобрал колышек. Дубина — не пружинит, не гнется. За неимением другого это сойдет.

Насадка воды коснулась. И вдруг темень омута озарило молнией! Серебряной молнией! Крутой бурун... Леса зазвенела, врезаясь в воду... Взмах удилища — на берегу бьется хариус. Спина черная с зеленоватым отливом, чешуя усеяна точками, радужный спинной плавник в фиолетовом крапе.

Хорош красавец! И хватка-то какова!

В Приознежье хариуса зовут «кузнецом»: каждый ка-
вень на быстрине отюкает носом, сбивая в рот всякую под-
водную живность. Стремителен хариус — быстрее, чем тень
стицы, носится против течения. Выскочит наверх, словит
бабочку, овода ли, комара ли и падет на дно. Стоит за кам-
нями, стоит неподвижно, точно на часах.

Следующий омут я выбрал прекрасный: камнями тече-
ние подперто, бьет с гряды на глубину тугая струя.

Однако заброс за забросом, и нет клева.

Но что там, на дне омута?

Палка. Топляк, вероятно. Осколок раковины смутно,
как-то смигивающе мерцает. Шевелятся у берега водорос-
ли. Поток взбивает пену, блики мельтешат, не дают воз-
можности рассмотреть что-нибудь подробнее.

Соразмеряя длину лесы и неуклюжего удильщика, я плав-
но вывожу червей на крючке к быстрине.

Молния в омуте сверкнула... Серебряная молния!

Подсекаю. Лишнее это, лишнее, — хариус сам себя под-
секает.

Но хитер, а? Палкой прикинулся!

Оглядываюсь на своего спутника: видел ли, как хариу-
сов таскаю? Александр Александрович все с лупой ищет
лес, который ниже травы. Считает деревца — былинки они
тоньше.

Рыбак-то и охотник он не мне чета! Утром отворяет по-
веть и идет кормить собак: молчаливый, даже замкнутый,
скулы твердые, глаза в строгом прищуре. До последнего
кустика округа им изучена. До единственного на весь лес
вяза, до той елки-великанши, из которой вышло целых семь
кубометров. И тропки звериные лесничему известны, и по-
ляны, где лоси, чуть засентябрят, бьются рогами и копы-
тами в кровопролитных турнирах, и глухие ручьи с фо-
релью... Все им исхожено, изведано. И ходок же Александр
Александрович! Знаю, не поверят, но зимой волков загоня-
ет на лыжах: изматает до изнеможения и добьется, под-
пустят на верный выстрел.

Что ж, лыжи здесь в почете. О лыжнике Рахте Рагно-
зерском здесь былина была сложена, как Рахта побил чу-
жеземного «неверного борца-посединщика»:

Гонец на коня садится, а Рахта на лыжи становится,
Наперед гонца в Москву ставится...

Не до рыбалки сейчас Александру Александровичу: через лупу высматривает деревца.

Пни, пни, — куда ни глянь.

Где уж тут синей моей птице завестись!

Канюк-сарыч кругами плавает в вышине, заунывно стоит:

— Кэй... кэ-эй!

Хариусы играют на перекате, а я сматываю удочку. Нет что-то настроения удить, вот и все.

* * *

В Вытегре я постарался разузнать, кто бы моей нужде пособил. Само собой, за советом обращался к охотникам, любителям рыбалки: все мы родственные души! Голос в голос «родственные души»: обратиться к Смирнову. Монтером он работал на энергоузле в поселке Белоусово, сейчас диспетчером там же. Живет по улице Гагарина. Как увидишь медведя во дворе, иди смело. У Смирнова музей лесных диких зверей собран, одних птичьих чучел сотни. Сходи, сходи, не покаешься. Будет тебе и синяя птица и серая в крапинку, и красная в полоску!

— Медведь, — спрашиваю, — живой или чучело?

— Живой! Вместо собаки на цепи. Представления детишкам закатывает, настоящий цирк!

Цирк, это прекрасно. Жалею, нет опыта общения с домашними медведями. Отправляюсь-ка к Смирнову на работу.

Бетонные громады шлюзов. Гидростанция. Нефтеналивные суда, баржи, пассажирские теплоходы на рейде...

Волго-Балт! Хочешь, садись на пароход, кати в Ленинград. Хочешь — в Москву, в Астрахань. Дорога открыта — голубая дорога канала.

На подстанции — гуденье бесчисленных проводов, трансформаторы, гроздья изоляторов, чем-то похожих на детскую игрушку-пирамидку. Гулкий и пустоватый диспетчерский зал. Пульт с разноцветными кнопками, мигающими точками миниатюрных лампочек. Напротив во всю стену схема линий передач и энергоузлов участка...

Смирнов успевал и мне ответить, и негромко отдавал команды по микрофону, и, колдуя над кнопками пульта, принимал рапорты с линии.

Верно, у него богатая птичья коллекция. Но дело не в этом. Пополнение коллекции идет необычно, вот что стоит отметить. Волго-Балтийский канал с водохранилищами, зеркалами Белого и Онежского озер расположен на перелетных путях. Преимущественно, перелеты совершаются по ночам. Подстанция же буквально со всех сторон опутана проводами, ну и расшибаются птицы о провода. Бывает, частенько случается.

— Кошкам принадлежит честь открытия. Не успеи обойти, перышка не оставят. Лисы, горностаи, ласки тоже пронюхали, где жареным пахнет, набегают из лесу, забор не держит. А, говорите, медведя позвать на управу? Он бы навел порядок! — засмеялся Смирнов. — Силен, дома замки ни к чему. Беда, жрать здоров: по четыре кило овсянки в день, это ж чистое разоренье!

Вообще кого только не бывало в домике на улице Гагарина. Барсуки? Жили. И белки и еще кое-кто по мелочи, а глухарей, так тех целый выводок.

— Насиженное гнездо нашел, — пояснил Смирнов. -- Глухарка его бросила. Собрал яйца, дома инкубатор смастерил. Ничего, вывелись. Иду с работы, а мои глухари на заборе сидят, словно ждут...

Слушал я его, озирался на сложные устройства, держащие в повиновении электрическую силу, и сам собой просился вопрос: много ли человеку надо? Вопрос старый как мир. Когда как, когда кто его решал. Два аршина земли надо, и так на него отвечали.

В волосах седина пробилась. Солдатом был Смирнов. Воевал. После ездил много, повидал свет. Семья у него сейчас. На работе ценят. Заочник вуза, будет инженером скоро.

Чего еще желать?

И мало ему всего. Мало!

Медведь во дворе сторожем, глухари на заборе...

Ну, а синяя птица?

— В коллекции не имею, — сказал Смирнов. — Не к спеху мне. Добуду как-нибудь при удобном случае.

Ну да, удобный случай. Провода. Птички налетают, разбиваются.

— В каталогах она значится «синехвосткой» — добавил Смирнов как бы вскользь.

Синехвостка?

Не без разочарования прошло для меня превращение чудной синей птицы в заурядную птаху!

Ну что ж, такова жизнь...

Тесно реке в берегах, кипит и бьется, и сил просит и берет у родников и ключей, и упорно в пене, в брызгах перекатов, через глубины омутов, перебарывая их застойную медлительность, спешит к морю. Приходит — туг бы и течь без берегов, да как дошла до моря, слила воды с морем, так и пропала.

Что ж, и реке без берегов жизни нет, а мечте и тем более.

Я простился, вышел.

Слепящая рябь переливалась у бортов кораблей. Наносило угольной гарью.

Чайки грудью пикировали в канал. Знакомо высвистывала, сидя на проводе, красногрудка: «Вигю-видел? Вигдел?» В самый раз, как на Паже: «ви-и-дел?» Сколько отсюда до Пажи? Часа полтора езды автобусом. От города с асфальтом, людской суголокой и бетонных громад канала до хвойной тишины, до ландышей—полтора часа езды.

Еще птичка села на провод, спугнутая мной с тропы по кустарнику.

Вся синяя, брови белые, строгие.... Она! Она! Синяя птица!

Искал ее в дебрях суземья на Паже. Но здесь?.. Шагают лугом железные вышки высоковольтных передач, лязгнули вдалеке створы шлюза, пропуская в канал очередное судно, и пароходные дымы в небе стелются, и на той стороне канала в зелени садов по угору громоздятся каменные здания города.

В кустах кукушки перекликались.

Наверное, их слышно на улицах в городе.

Как это в «Калевале» просил старый Вайнямейнен кукушку? Просил, заклинал:

Пой ты утром, пой ты ночью,
Ты кукуй в часы полудня,
Чтоб поляны украшались,
Чтоб леса здесь красовались!..



ИЮЛЬ — ЗЕЛЕНАЯ СТРАДА



Июль — жара и росы, дары лесные, работы полевые. Укорачиваются дни. Липы цветут. Душное марево застилает дали. Травы по пояс, никнут в истоме. И пчел, пчел-то над цветами! Чуть горчит свежий мед с целебного разнотравья, густой и янтарно-коричневый — в отличие от прозрачного липового.

Скрипучий наигрыш кузнечиков сливается со стрекотом косилок: настала макушка лета, зеленая страда. Горячая сенокосная работа: «хоть раздаться, все легче нет». Встают высокие стога, по свежей косовице кормятся выводки дроздов, и скользят, все скользят рыхлые тени тающих облаков, в знойном воздухе наносит жару.

Выпустил ячмень усы — кукушка подавилась, не раздается окрест ее зовущее «ку-ку», сиротливее примолкли перелески.

Ржи напостылело бить поклоны ветрам. Загрузила колосья зерном. «Зажинки» кое-где и поныне празднуются по деревням. Ржаной сноп-первенец с почетом проносят по улице...

Наливаются яблоки. Сбор клубники, крыжовника и малины. Потрудился — сад урожаям платит.

А земляники по вырубкам и полянам, морошки, голубики-гонобобля по болотам!

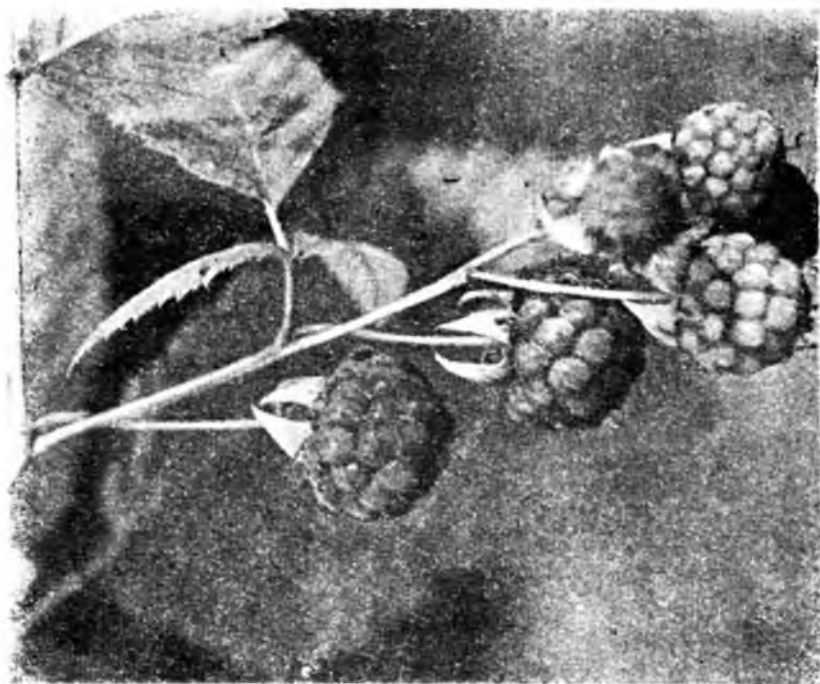
Загляни после дождя в лесу под кустик —

Стоит Антошка
На одной ножке,
Его зовут, —
Не отзывается.

В прятки с грибниками играют ранние грузди и рыжики. У подосиновиков кичливо шляпки набекрень: мы всех нарядней! К сосновым мхам привязчивы масленики: «Был ребенком — пеленался в пеленки, стал стар-старичок — надел воротничок». У мухомора красный в белых бородавках колпак, напудренные с кружевной оторочкой панталоны, — по пустой же гриб! Палкой сго с тропы, ну-ка размахнись, рука... Зря, зря! Ты ополчился на лесную аптеку. Мухоморами лечатся лоси. Затем полезно знать, что мухомор служит грибным наводчиком. Ядовитый отщепенец, он спутник белого боровика. Загадочна дружба первого, ценнейшего гриба с наипоследним, тем не менее, подчас не обходятся они один без другого.

Над водой утром розовый пар. В зеленых камышах и зарослях рдеста и водяной гречихи плеск рыбы пугает строкос, дремлющих на листьях кувшинок. Пока не распалось солнце, поют в утренней росной свежести славки. Печочки-теньковки передразнивают стук росы: «тинь-тень, тинь-тень». Свищут иволги... Семейство медведей — мать и трое смешных плюшевых головастика, носы, как пугонки, — спускаются к озеру. Медведица на берегу осталась, а малыши сразу к воде. Жажда измучила. Не воду, кажется, пьют — пьют зарю, налитую в омут...

Поэтическими преданиями овеян июль. Воскрешает и памяти сказочную ночь накануне Ивана Купалы. В эту ночь зловещую папоротник цветет, открываются клады, зачурканные печистой силой. И когда-то знахари, волхвы-зелейщики купальским вечером уходили в леса, провожали их совиный крик. Уходили волхвы копать корни, рвать травы, от одних названий которых пробирал мороз по коже: «нечуй-ветер», «колюка», «разры-трава», «плакун-цвет»... Отголосок древних поверий, когда травам приписывалась злая сверхъестественная сила, звучит и поныне в слове «отрава».



Рубинами горит малина в солнечном затишье.

А в сущности, что такое «купальница»? В ее честь про-
извдалась сказочная ночь, а это ззурядный желтый цветок.
Весной его полно по сырым кустарниковым лугам. Девоч-
ки плетут из купальниц венки. Папоротник, поскольку спо-
ровое растение, вообще не цветет ни в ночь на Ивана Ку-
палу, ни раньше, ни после...

У природы свой отчет времени. Лен заголубел — пер-
вый листок июля на ее календаре; вереск цветет — усту-
пает июль место августу.



Самое-самое-самое

Самым знойным за ряд последних лет выдавался июль в 1954 и 1965 годах, 10 июля 1954 года, например, в Никольске термометр показал 35°!

Снег... В июле? Север есть север, и летописец отметил, что в 1682 году в Устюге 22 июля выпал «снег с лишком 7 вершков», то есть глубиной более тридцати сантиметров. Часто в июле бывает иней. Заморозки не только вообще для июля не такое уж исключительное явление.

Самая ранняя жатва хлебов, согласно летописи, была в 1484 году — кончилась к 10 июля. В среднем, в июле лен цветет (8 июля), пшеница и ячмень только колосятся, овес выметывает метелки (12—13 июля).

Белые грибы появляются в двадцатых числах июля, но в 1927 году порадовали — их носили из леса с 21 июня.

Поленика — «ананас Севера». Удивительно ароматна и вкусна! Первые ягоды соком наливаются в середине июля, наравне с черникой. В 1921 году, очень жарком, засушливом, черника однако поспела 23 июня, черная смородина — 1 июля (почти на месяц раньше обыкновения).

Малина созревает: самый ранний срок — 1 июля 1947 года, самый поздний — 6 августа 1936 года.

Кто, где? Куда и откуда?

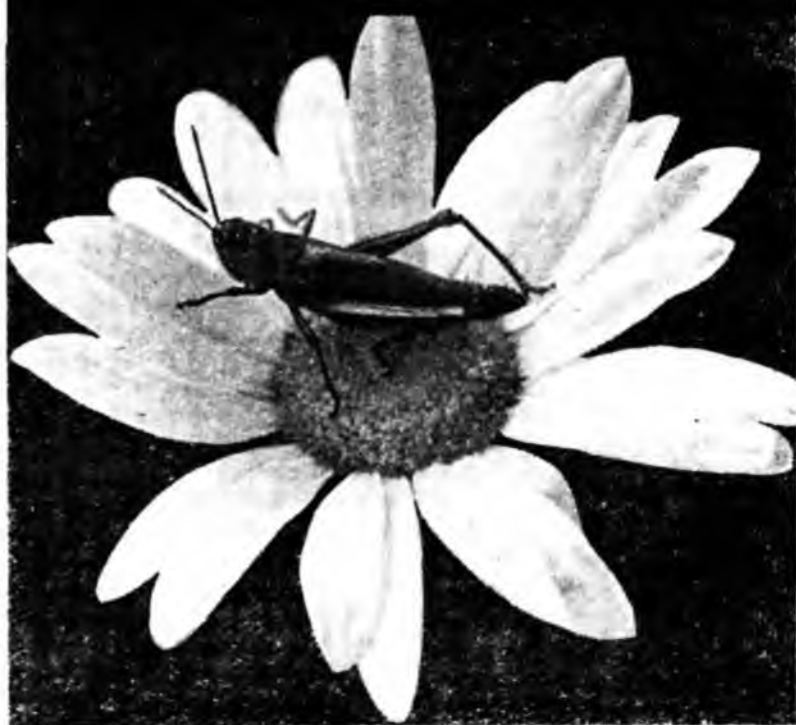


МЕДВЕДЬ — в зной забирается в чащобу. Охотно кормится ягодами, сочными так называемыми «медвежьими» дудками. Но пастух при стаде не дремлет — косо-



тапын еще не давал зарок, что стада не тронет!

БАРСУК — как старшие, так и молодежь пользуются семейными норами лишь время от време-



Кузнечик на ромашке.

ни. Зачем нора? — темно в ней и душно! Бродяжат по лесу. Посещают по ночам ягодники, грибные места.

ГЛУХАРЬ — поднятый с земли выводок не разлетается широко, садясь на ближние деревья: выско, кто нас тронет? Этим пользуются иногда медведи: отряхнут с ветвей птенцов и лопят. Глухарята ничего себе — величиной без малого с курицу! В выводке их 5—7.

ТЕТЕРЕВ — пестрое платьишко у тетерки поизносилось, но смену она делает, линяет из ходу. Тетеревята по просыхающей росе тасуются на ягодниках, дни прозодет в тени, часов с 4 дня вновь формируются то в черничниках, то на полянах, обирая с травы на-

секомых. Любят купаться в пачке, как все лесные куры.

ГАГАРА — молодые не летают зато отличные ныряльщики. Начались занятия, учатся гагарята ловить рыбу. Выводки на озерах Воже, Белом и Рыбинском море и т. д.

КУЛИК-СОРОКА — вот кто первым пути перелетные с Севера обновляет! В конце месяца годоваливают стаи с Севера — на отмели, берега больших рек, как Сухона, Юг.

ЧИБИС — табунится по лугам. Что это — среди лета, что ли осень ворожит?

БЕРКУТ — птенцы оперились, однако на родительской шее им сидеть и сидеть: пожалуй, лето

пройдет, пока у орлят окрепнут крылья.

СКОПА — за рыбой улетает от гнезда на многие километры. Молодые скопы долго будут в гнезде на иждивении родителей.

КРАПИВНИК — спохватился: лету середка, и птенцы не выведены! Гнездышки вьет на низких елочках и сосенках среди хвороста и бурелома. Очень крапивничек старателен, а никак подружке не потрафит: совет из сухих листьев и мха пять да шесть, семь да девять, она все бракует. Как узнать, какое гнездышко ей приглянется? То, в которое она ставит перышки носить.

ПЕНОЧКА-ВЕСНИЧКА — шалашик певуны ставится по перелескам, рощам, под кусточками. От гнезд остальных пеночек он отличается тем, что в подстилке одни куриные перья: лесных кур — рябчика, тетерева, глухаря, — когда гнездо в лесу; кур домашних, — когда близко деревни поселки.

ЛИНЬ — растягивает весенний нерест до второй половины июля.

Воду предпочитает прогретую и покойную, травянистую. Ление сидень: в излюбленном омуте и икру мечет на водоросли, и живет. Лини Рыбинского моря обитают в затопленных лесах.

ГОЛАВЛЬ — какой кузнечик стрекнет невзначай в реку, тот и попался красноперой рыбине! Любознателен голавль. Что ни плыло бы наверху, хоть щелка, — попробует, не съедобно ли?

ЖЕРЕХ — по утренним зорям и вечерам «бой»: как конь, выскакивает из воды, плашмя хлещет по воде широким хвостом, глущит мелкую рыбешку и заглатывает.

Встречается в реках, относящихся к бассейну Волги, в Белом озере.

ЯЩЕРИЦА (живородящая) — зимой и засуху зарывается под корни деревьев, в листья и опеневает, пока не спадет жара.

МУРАВЬИ — роятся черные луговые, рыжие лесные. В муравьищах столпотворение, переполох, все на ногах! После рояния самки отгрызают крылья и закладывают новые гнезда.

СОСЕДИ

Едва успел я выбежать из болота и укрыться в лесу под лохматой, издали примеченной елкой, как гроза навалилась. Бурая туча заслонила свет. Мотались елки, березы, протягивая сучья, как руки, вслед вихрю, умоляя о пощаде. Ближе, ближе раздались громовые раскаты, потом так треснуло над лесом, словно раскололось небо.

Не знаю ничего более грозного, более действующего на чувства, чем буря в лесу. Шум косого дождя тонет в нестройном ропоте потревоженных вихрем деревьев. Удары грома следуют беспрерывно, сливаясь в гулкий, потрясающий саму землю грохот. Молнии, сверкая по сторонам, превращают дождь в слепящие струи белого пламени, вырывают из потемок то пеня среди поляны, то одинокий куст папоротника, и все окружающее в этом диком хаосе звуков, в

стремительном чередовании черной темноты и всплесков света обретает фантастический облик.

Что там трусливые осины — даже столетние сосны вбурю утратили свою невозмутимую степенность и суматошно, растерянно качались под порывами шквального ветра.

Но кому всех трудней приходилось, так это березке подле осанистой кряжистой сосны. Тоненькая, хрупкая березка дрожала на ветру, и будто не дождь — слезы страха проблескивали на ее зеленых ресницах. Может быть, ей сдавалось, что все молнии целят в нее, и, когда вспыхивала молния, бедняжка словно бы смаргивала, трепеща до последнего листика.

И вот тут-то я увидел лося. Всего в двадцати-тридцати метрах от меня он переживал непогоду, как и я, под елкой. Его борода слиплась, струи дождя проложили на боках темные бороздки, а рога мокро блестели. Поджав заднюю левую ногу, лось стоял спокойно. Вздрагивая ушами, сбивал с них дождевые капли.

Когда он здесь появился? Несомненно, после меня, иначе бы столь близко человека не подпустил. Из болота его, очевидно, тоже выгнала гроза.

Я сдерживал дыхание. Слух у лося бесподобен, шаги человека, говорят, лось узнает за километры. Вон у него уши-то — раструбами! Я боялся пошевелиться. Посудите, часто ли доводится переживать грозу в лесу по соседству с лосем, в одной, так сказать, компании!

Конечно, если бы мы с ним на пару коротали время, то и горюшка мало. Но комары... И они попрятались от дождя под деревья! И в такой-то момент, когда я вздохнуть полной грудью не решался, сидеть не шевелясь, они «з-з-з, з-з-з!» Нудно, печально распелся один комарище у моего уха. Второй, рыжий-рыжий, сел на щеку. Честное слово, я видел, как рыжий перебирал тощими голенастыми лапками, словно точил, острил свое жало. Он не спешил, определенно растягивая удовольствие, прежде чем впиться мне в щеку. Что за мучение! Шлепнуть его, мокрого места не останется! А нельзя. Лося спугну! Я был не брит и комарище, видно, наколот себе голые пятки о мою шетину. Уныло, жалостливо пища, рыжий пересел на нос. Чихну... Ей-ей, чихну! Выше сил дальше терпеть... Чихну! Я корчился, слезы на глаза навернулись. Но комарище, верно, был сыт. Он сгорбился, задремал на моем носу.

Мягким, прямо-таки кошачьим движением я смахнул его.

У-уф, какое облегчение! Точно гора с плеч!

И тут я чуть не рассмеялся. Чего я боюсь? Гром, молнии, лес стонет, накатит шквал — точно поезд пронесется над вершинами деревьев в шуме и грохоте! Да будь хоть того шире у лося уши, где ему услышать, что я чихну или пошевелинусь? Он попросту оглох от грозы и бури.

Сейчас проделаю опыт. Так ли уж чуток лось? Я нащупал на земле сук. Толщиной с карандаш. Пристроил его на колено, и р-раз!

Сучок сухо щелкнул, разлетаясь пополам.

А лося из-под ели как ветром сдуло. Прыжок, еще прыжок, и великан растворился в серой мути дождя.

Так и лишился я приятного соседства. Что говорить, не деликатный поступок — выгнать соседа под дождь и грозу. И! какого соседа!

БАЛЕРИНА

Вышел на пожню — лиса! Среди бела дня, близко так...

Я люблю укромные лесные луга-поженки, на которые хмуро насупясь, наступает тайга, держа пиками остроконечные вершины елей и высылая вперед частые заросли можжевельника, лиственного молодняка. Был дремучий сумрак, мхи под ногой и колодник, топкие болотца в кляксах застойной пахучей воды, хвойное безмолвие, а тут — росчисть, стожки сена, шалаш косарей, крытый корьем. Волнующе наносит остывшей золой кострища, духовитым настоем скошенного сена, и оставляет чувство одиночества, затерянности, какое давило тебя в глухом суземье.

Приобретена мною привычка: выходить на светлые прогалины лесных покосов тихо, чтоб сучок ненароком не треснул, не качнулась еловая лапа, подавая сигнал тревоги: на этих поженках, случается, увидишь и насущихся лосей, и выводок тетеревов.

И вот, пожалуйста — лиса! Значит, шел я тихо, не спугнул ее.

Она челноком снует. Замрет, выгнув спину, наострит уши. Кончик хвоста напряженно подрагивает. То вдруг подпрыгнет — цоп, только зубы клацнут! Опять коготь поймала.

Кого?

Я стою. Увлеклась лиса, нет чтобы осмотреться. Страстные они охотницы — про все на охоте забывают. И эта будто прыгает, вся как на пружинах. мех у нее летний, жидкий. Нет виду даже в хвосте. Кажется лиса поджарой, долговзрой. Лапки темные до колена, почти черные. Бока отливают алым, с рыжеватой подпалинкой. Грудь белая, словно лиса повязала себе салфетку.

Кормится лисонька. Неспроста у нее такие балетные па, прыжки да пируэты. И зубы — клец да клец!

Пригляделся я... Ба, а лиса-то кузнечиков ловит. Луг выкошен, сено в стогах, скрипачам негде укрыться. Лишь заведет какой на своей скрипочке пиликать, лиса — тут как тут. Цоп — и нет музыканта!

Я не вытерпел:

— Хватит тебе... Так ты всю пожню без музыки оставишь!

Услышала лиса мой голос. Как припадет от неожиданности на все четыре лапки, как припустит к лесу... Была рыжая балерина — в лес унеслась рыжая стрела. Вспыхнуло в кустах рыжее пятно, мелькнуло и погасло, как спичка на ветру.

КОЛОДЦЫ

Хлеба никли, просыная из колосьев невызревшее сморщенное зерно. Горячий, душный воздух дрожал, зыбился, и солнце в нем висело косматое, багровое, жгло и испепеляло. Засуха.

Грибов нет...

Того пуще охота, чего нет, и лукошко на руку, айда в болото. Авось обабков наберу. Или сыроег-говорушек. Опята — и то гриб.

Бродил я, колесил по болоту... Мхи пересохли, пылят едкой гарью. Голову напекло, разболелась. Во рту горечь. Чего бы ни отдал за глоток воды — горло смочить. О грибах думать забудь!

По окраине болота протекал ручей. Так и есть, нынче иссяк. Русло потрескалось.

Из болота ручей свернул в ельник. Бурая от палой гнилой хвои земля. Мхи. Папоротники. Глухо, застойно. Глянешь вверх, неба не видно — одни серые стволы, хвоя. Гу-

ста, глубока и запутана мешанина сучьев, и со стороны бы кто посмотрел — будто блуждаю я на самом дне хвойного омута.

Между тем почва в русле ручья кое-где повлажнела. Сразу же следы объявились. Звери ходили. Волки.

Не к себе ли они в логовище?

У лисьих и барсучьих нор бывал. Случилось раз найти покинутую берлогу. Рысью лежку видал. Весной это было. рысь линяла. О траву терлась, счищая теплую зимнюю подпушь. Лежка была выбрана на проталине, на пригреве. На пригреве, на самом солнышке, рысь с боку на бок переваливалась — как кошка на печи! А у норы барсука, которую я осенью нашел, запомнился пенёк. Будто на столе, на липе были разложены боровики и маслята: вот так-так, барсук грибочки-то сушит! В убранстве берлоги не забыть мне мохового валика. Вроде подушки от дивана. Спал медведь, под голову его клал? Куда все проще: к весне подмокла берлога, ворочался косолапый, моховая подстилка и скаталась жгутом, толстым, как валик от дивана.

Были мне медвежья подушка, пенек с барсучьими грибами, рысья лежанка подарками леса. А вместе с тем той дверью в сокровенное, самое потаенное, чем он жив. Жив лес сам по себе. Двери на запоре, на замках — и поди, сыщи ключи! Но везде они, те ключи: в моховой подушке из берлоги, в рысей лежанке-пригревинке. И в шуме хвои и в лепете листвы...

Ну, а волчье логово? Нет, рядом не ступал!

Зачавкало под ногами. Ботинки черпнули вонючей жижи.

Продрался я сквозь ельник, вышел к прогалине, как со дна глубокого, затиненного омута вынырнул.

Купыри. Лабазник. Крапива.

Шел, шел. Путался среди половодья трав.

Шел я к волчьему логову. А вышел... Колодец! Два колодца кряду!

Чьи колодцы, — не спрашивайте. Волк злодей и крошечник. Но грязной воды не напьется. В засуху волки роют колодцы. Они умеют. Умеют найти место, где вода наберется в их копанку.

Ель хвойными лапами растопырилась, тенью укрывает колодцы. Трава выше головы. Звериные следы. Духота.

А вдруг волки за мной следят?

Оба́рнулся я резко. Мимо меня: ш ши! Перед лицом прямо: ш-ши!

Черт бы ее взял, кукша пролетела. Я так и обмер, когда она пронеслась мимо. Красно-бурая, с оранжево-пламенными перьями в хвосте и крыльях, она пролетела и будто огонек пронесла.

— Эй, эй! Осторожнее с огнем! Засуха, долго ли до беды?

Пролетела кукша — порхнул и пропал огонек...

ФОНАРИК

Год выдался щедрый на лесной урожай. Особенно сочна, ароматна вызрела малина — в лесных затишках, под тенью, где не спекло, не засушило ягоды раньше времени солнцем. Идешь мимо, будто и сыт, а наберешь горсть спелого душистого дива. Хороша малинка — сама на языке тает.

И охотников же до нее по нашим лесам! Медведь — это само собой. Только медведь по яголке не собирает. На брюхе ползая в малиннике, он лапищами заправляет ее целым кустом себе в пасть. Обсасывает, выплевывая зеленцы. Чмокает, сопит и от удовольствия ежит дремучие глазки. До сладкого мишка сам не свой!

А птицы... И шустрые крапивники, шныряющие в буреломе; и дрозды — недремлющие часовые роц; и лесные куры — рябчики, тетерева, глухари; и славки, сойки, зарянки — никто не отказывается от малины.

А раз я видел белку. Она скакала по земле, серединой просеки. Ушки с кистями, смышленные глазки-пуговицы, хвост дугой... Скачет белка, несет в оскаленных оранжевых зубах спелую малинку. Всего-то одну ягоду, но как несет — бережно, бережно. Упал на ягоду луч солнца, просияла она вся, будто алый фонарик вспыхнул.

Надолго мне запомнится заросшая просека сквозь лес, летящий пух кипрея, хвойные утренние запахи, поляны в папоротниках и белка, у которой в зубах вспыхнула фонариком ягода малинка.



АВГУСТ — МЕЖНИК



Вспышки зарниц чертят горизонт по ночам, когда одни сверчки дают о себе знать, пахнет полынью, и бездна неба усеяна звездами, и сухим смолистым жаром тянет от леса...

На распутье, как межа лета и осени, август — месяц «зарев» — славян-русицей, «серпень» — поляков и чехов.

Время массовой жатвы, время озимого сева.

В старину август звался «густоедом» и «соberихой»: все созрело, всего густо. Без ног, без дорог хаживали пословицы: «Что соберет мужик в август-густоед, тем и зиму сыт». «Август — ленорост припасает льняной холст». Наливаются яблоки от росы к росе. Огурцами, укропом запашисто натягивает с огородных гряд. Ботву помидоров увешивают краснеющие шары. Сидит репка: «сама клубочком, хвост под себя». Туже завивает кочаны капуста. Забавна о ней народная лукавая загадка: «Щаровита, кудрезата, на макушке плешь, на здоровье съешь!»

Лесной вестник августа — брусника. Зарумянилась — значит, бьют последние часы лета, часы его последнего месяца хлебосола.



На высвеченной солнцем еловой лапке пригелась бабочка...

По прогалинам, на вырубках, по речным и озерным берегам горят пижмы, лиловет короставник, луговые васильки. А ромашек, а зверобоя и подмаренника! Охапки цветов бросает к ногам путника лес. Зато по суходолам трава побурела, выметала семена.

И грибы ушли в лес, — не то, что в перволетье, когда искать их приходилось по полям, прогретым солнцем.

И роса в тени уже не просыхает до полудня.

И отлетают пернатые — те, кого ждут дальние дороги. Исчезли соловьи, кукушки. Ведь зимой те же соловьи — гости тропической Африки. От Онежского озера до Танганьики, действительно, путь не близкий. Пеночка-таловка зимует в Индонезии. С мокрых лугов по Сухоне и Северной Двине через всю Сибирь пролегают маршруты овсянки-дубровника до Вьетнама. Из тишины — в гром и гул сражений, где джунгли в огне, где пылают деревни от напалма, и не туман клубится — ядовитый газ облаками опускается на землю, неся смерть...

Август, август — пора разлук! Бередя душу, кричат журавли на убранном гороховом поле. Вдруг взлетают, выстраиваются треугольником и, делая круги, поднимаются

выше и выше, тоскливо курлыкают. Это молодняк тренируется, идет репетиция осеннего похода.

В стаи сбиваются зяблики, трясогузки.

У белки новость: опять маленькие! Хотя осень на носу, прыгунья-воструха не горюет — всего вдоволь в лесу, отчего бы ей не воспитать новый, третий по счету выводок? Единственно, чем перед осенью поступилась: хвост стал пушистый, не в пример летнему. Если недород еловых и сосновых шишек, то белки, понятно, не заводят под осень гнезд. Напротив, старые бросают, уходят в поисках кормных угодий за сотни километров, преодолевают болота, реки, озера.

На зорях воют подросшие волчата. Обжоры они, волк с волчицей едва успевают таскать к логову добычу.

Медведи ходят на овсы. Так проказливый мальчишка, закусив губу, не крадется в чужой огород за репой, как огромный, с виду неуклюжий медведище подходит к полю! Все спокойно, не напахнуло в ноздри запахом человека — принимается мишка за пир. Уж он пирует: лапами загребаёт овес в пасть, жуёт и чавкает. После сладкой малины лесной то ли хорошо, то ли дородно заправиться овсецом. Наевшись до отвала, медведь непременно покатается по овсу — расправит косточки...

Лисята промышляют вместе с матерью. Да вот беда, вот оказия — лисонька охромела. Подошвы лап опушились, волос пока колюч, короток — щекотно бегать лисе. Шутят охотники: «Патрикеевна подковалась».

В августе «ночь длинна, вода холодна». Налим покинул убежище под корягой, хватает ершей да пескарей. Лежи пацутся на водяной гречихе. Стаями разбойничают окуни, бьют мальков.

Дождались рыбаки-удильщики своего времени!

Свой календарь в лесу. Когда ужата вылупятся из яиц, то можно сказать: миновало лето красное...

На лугах настлан лен вымокать под росами. Аккуратные серые дорожки среди зеленой отавы издали приметны, похожи на половики: по ним, ступая неслышно, входит на двор осень.



Самая ранняя жатва, отмеченная за последние десятилетия, была в 1924 году, когда начали ее 3 июля. В 1922 году зерновые долго не посеивали, уборку озимой ржи начали только 31 августа.

Под Вологдой начало теребления льна, в среднем, падает на 16 августа. Однако бывало, когда за лен брались гораздо раньше — 7 июля (в 1905 году). Так же и с другими сельскохозяйственными культурами: свес жнут обычно с 23 августа, но в 1923 году затянулись с началом косовицы до 21 сентября.

Кто, где? Куда и откуда?



ЛАСКА — крошечный хищник-пролаза не признает сезонных перемен: попадают в августе и самостоятельные ласки ранних выводков, и слепые беспомощные детеныши в гнездах.

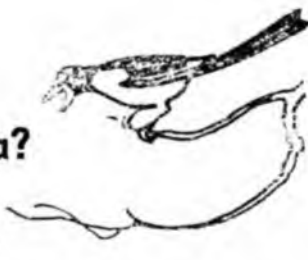
ЕНОТОВИДНАЯ СОБАКА — енотки-сеголетки на промысел выходят в сопровождении родителей. Прекрасно плавают, поэтому в Рыбинском море забираются на острова, хватают утят-поздышей, в обмелевших лужах ловят рыбу. Там, где много енотовидных собак, почти начисто исчезает дичь.

РЫСЬ — молодые стали по окраске меха похожи на взрослых.

Охотятся выводки в лесной чаще.

БОБР — возвращается постепенно с летних «дач» к коренным поселениям. В связи с тем, что к исходу августа травы теряют сочность, бобры все больше питаются корой деревьев, ветками. От воды в травяных зарослях проложены зверьми укромные, сверху трудно прослеживаемые туннели, натоптаны кустарникам тропы. Во всю идет строительство плотин, каналов — не сидят работяги без дела!

БЕЛКА-ЛЕТЯГА — пошли пробные полеты у маленьких летяг, появившихся на свет в июне-ию-



ле. На землю не спускаются, планируют к подножьям деревьев.

МЫШЬ-МАЛЮТКА — опять, во второй или в третий раз мышат! Устраивается с шарообразным гнездом на открытых полянах, пухайках у воды, в густой траве. И верно, малютка, раз длина мышки 5—7 сантиметров!

КРОТ — в случае засухи предпринимает походы во влажные низины.

ГЛУХАРЬ — в ягодниках по борах, в моховых болотах.

ТЕТЕРЕВ — в ягодниках. Посещает осы. Молодые черныш отделяются от выводка, держатся особняком.

РЯБЧИК — с конца месяца молодые начинают перекликаться. Матка-старка с петушком оставляют выводок.

БЕЛАЯ КУРОПАТКА — встречается выводками там же, где тетерева — в брусничниках, на

жнивье, а также по сухим гривам болот, по вырубкам.

ПЕРЕПЕЛ — смелкло: «Подь-полоты! подь-полоты!» Со скошенных лугов перепела передвин, лись в посевы хлебов.

КРЯКВА — выводки повзрослели, «взматерели», как говорят охотники. Однако утята поначалу неохотно пользуются крыльями, предпочитая при опасности затаиваться. Дни проседают в тихих, защищенных от ветра местах вечером непременно вылетают жировать на хлеба и в кормные, но менее безопасные водоемы.

ЛИНЬ — облезает и поест гень. Худеет, снижением аппетита отмечая приближение осени.

КАРАСЬ — как и линю, тоскливо ему в постодавшей воде.

ЯЗЬ — в Рыбинском море идет перемещение из прибрежной полосы в открытую часть водоема.



Что ни ночь, вспыхивают новые звезды в небе, — осень близится. Что ни день, гаснут белые звезды по омутам, — отцветают лилии.

ЕДОМА

Есть прелесть в том, чтобы провести сутки-другие в охотничьей избушке в сердце лесов. Рубленные из бревен, проконопаченные красным ворсистым мхом и крытые еловым корьем или плахами, избушки эти прячутся в суземье. Нары, грубо сколоченный стол, черные прокопченные стены и низкий потолок, очаг из камней вместо печи. Но приди сюда после утомительного блуждания по лесам и болотам, скинь рюкзак с плеч, затопи очаг-камелек — в его красном зыбком свете преобразится убогий приют. И не столь огонь очага тебя обогреет, сколь забота охотника-трудяги, поставившего на перепутье хижину, открытую для всех...

Славный ведется обычай: уходишь — оставь спичек, дрова и растопку, насыпь на стол сухарей, соли в тряпицу завяжи... Как знать, не понадобятся ли кому-нибудь твои крохи? Ведь и после тебя придут в избушку люди. Вдруг у них спички кончились? Вдруг они голодны?

Порой в избушках можно найти полку с книгами, и попадется на ней то красноармейский букварь 20-х годов с волнующей прописью: «МЫ НЕ РАБЫ», то вовсе старинный, писанный от руки том в переплете из телячьей кожи.

Ограбить, запакостить избушку — преступление. В недавние времена каралось оно сурово, без снисхождения...

Кое-где, в частности на Пинеге, глубинные охотничьи избушки зовут древним словом «едомные».

Запомнилась мне одна едомная избушка в сосновом бору, где он, редая, смыкался с чернолесьем.

Летом где-то близко от нее было гнездо филинов, и эти искони таяжные птицы налетали сюда аккуратно, не боясь ни огня, ни меня. Я их не трогал, я любовался ими: экие страшилища! Круглая кошачья морда с крючковатым, крепким, как кремь, клювом, рожки из перьев, свирепые, налитые золотисто-оранжевым огнем очи... Очи, зрачки которых чутко дрожат даже от дыхания птицы! Крылья в ржаво-пестрых и черных пятнах: когда филин сидит, они кажутся плащом, плотно облегающим его с боков. Поражали и лапы филинов с острейшими хищными когтями, спрятанными в густом пуху.

Филины появлялись порой, когда чуть начинал гаснуть закат.

— Уху-у... уху-у! — их дикие крики звучали горько и тревожно.

Утром можно было прямо с порога избушки подманить пищиком рябчиков. Эти прибежали ко мне пешком — сеньские, наизытые, перемокшие в росе.

Но я не трогал их...

Рябчики назерли: ка тоже были одного выводка. Выводка, уцелевшего несмотря на близость филинов.

Ведь филины не охотятся на пороге своего дома. Это закон для всех: нет охоты возле собственного гнезда.

Что же мне, человеку, было нарушать заведенные в лесу порядки?

ОТ ДОЖДЯ ДА В ВОДУ

Посветлело. Гроза ослабила натиск. Свет был испитой, мерклый. Свет в изреженных ливнем, в подпаленных молниями тучах, но не в приречных лугах, но не в лесах, где низкая пасмурь и дождь породили серые паровитые сумерки. На воде вздувались пузыри. Река будто кипела. Березы и осины тоже кипели мокрой листвой. Это дождь припустил шибче.

Из-под обрыва вылетел перевозчик. Вздрагивая косыми крыльями, он точно нитку протянул к камню в заводи. Серый, черноглазый, на стройных пружинистых ножках. Качнувшись хвостом, присел с камня в куличьем своем реверансе:

— Тили-тили!

Из дождя едва слышно: «Тили-тили!»

Кто не день, не два, кто подряд много времени отдаст рыбалке или охоте, блуждая по лесам, берегам рек и озер, тот дорожит встречей с любимым, пусть самым неприглядным их обитателем.

Чего бы такого — кулик-первозчик? Примелькался, видан-перевидан. Итаха не из ряда вон. День-деньской летает с берега на берег, по песочку гуляет и лапками на песке будто грамотки пишет. Кто хочет, читай — о знойном томлении трав под палящим солнцем, о запахах тины и речной воды, о рыбе, пускающей круги на заре... Все в грамотках записано. Да кому читать? Шел пастух по берегу, коровьи следы искал. Рыбак на омута заглядывался. Ребятишки, те, не читая, своими босыми пятками куличью грамотку заново переписали — и скорей купаться. Вот тебе и тили-тили-куличок!

За дождем едва видно, в дожде едва слышно, и последние его грамотки наверное смыло-размыло...

Чего такого — куличок-перевозчик, но почему-то теплее делается на душе, когда его увидел, и река, луга-наволоки за дождевой пеленой, и лес стали мне ближе, родней. Видишь: елка накренилась с обрыва, с хвойных лап течет и булькает. Еще молода, но сердцевина дряблая. Завелись в елке муравьи. Темным-темна елка, растопорчилась лапами. Стоит какая-то рассеянная. Кусты ивовые — в развилках сучьев, как птичьи гнезда, висит обсохшая после весеннего паводка тина. Прижались кусты к берегу, оробели в грозу... И так у каждого куста, каждого дерева находишь свое выражение, вдруг начинаешь их узнавать. Как в городе нет одинаковых домов, так и в лесу все деревья разные.

И уж камня черного, мокрого, словно залакированного камня, подавно другого такого нигде нет — ведь с него раскланялся тебе куличок!

— Тили? — спрашивал кого-то перевозчик.

— Тили-тили! — отвечал.

И забрел с камня в реку.

Было в заводи мелко. Куличок взъерошил перья на точеной шее и присел белым, как в крахмальном переднике, животом на воду. Расплескался крыльями, исчез за брызгами. Мало показалось — окунулся раз и другой с головой...

Грозовые громады сваливались за лес, смаргивая назад молниями. Уползали, волоча рваные ошметья туч, и огрызались утомленно, и дуло от них холодом.

Ливень иссякал.

А этот куличок разве не чудак? От дождя лазит в воду!

ПОВЕСТКА

Великолепны были издали эти три подосиновика, румяные и крепенькие. Главное, сразу три! До чего нарядны их шляпки среди белых мхов, блеклой травы, пронизанной солнцем, под навесом сосновой хвои!

Но когда я подошел ближе, осталось наклониться да срезать грибы и положить в корзину, как стало ясно: грибов-то два, а третий — осиновый лист. Багряный, в желтых прожилках — долго ли было его спутать со шляпкой подосиновика?

Я вспомнил о багряном листе в полях, где стояли осанистые стога соломы и по стерне перепархивали табунки скворцов. Пропуская меня, табунки поднимались в воздух, сбиваясь большой стаей. И в шуме, трепете крыльев скворчиной стаи, и в грузных тучах, наползающих из-за желтеющих лесов, было что-то грустное, берущее за сердце.

На подходе осень...

Кому как, а скворцам, прочим птичкам-певуньям багряный осиновый лист на блеклой траве — повестка к скорому отлету с родимых мест в сторону южную.

ЗАСАДА

Фуражка с зеленым, изрядно выцветшим околышем. Галлифе. Гимнастерка, подворотничок всегда свежий. До блеска начищенные, поскрипывают сапоги, распространяют благоуханье ваксы. Добавить к этому солдатскую выправку. Кажется, и весь портрет Павла. Вечно Паша застегнут, как говорится, на все пуговицы. Лишнего слова не скажет. Ровен и невозмутим. И ремнем затянут. На ту уставную дырочку, когда под ремень пальца не просунуть. Хоть сейчас в строй. На правый фланг. Потому что рост у Паши — ребятишки дразнятся: «Дяденька, достань воробушка».

Идем мы полями: Павел — с работы, в колхозном направлении он бухгалтером, а я — с охоты.

Болят у Паши зубы, держит припухшую щеку ладонью.

— Съезди в больницу, — не вынес я. — Будет себя мучить. Отчеты у тебя никогда не кончатся, на твой век цифирь хватит.

Не удостоил ответом.

А, тогда терпи!..

Перелезая изгородь, он коротко произнес:

— Волк.

Таким тоном: что сорока на заборе, что волк в кустах или тигр полосатый — ему безразлично.

— Да? — вскинулся я, потянувшись к ружью.

Поля в окаймлении щетки леса. Скирды соломы там и сям рассеяны. Пылит по большаку автобус.

— Где волк?

— На скотомогильнике.

Я схватился за бинокль. До бугра за полями около километра. Уметь надо на таком расстоянии на ходу разгля-

дежь зверя. Недаром ты, Паша, служил на заставе, старшина погранвойск.

— Что он делает? — Паша отнял ладонь от щеки.

— Катается, — говорю, — нажрался падали, брюхо проминает.

— А-а... — И дальше зашагал.

Тьфу-ты! Волк ведь! Хотя бы бинокль у меня взял. Часто ли волки на глаза попадаются!

Дома Паша — я квартировал у него — быстро переоделся. Собрал несусветную рвань с подволоки. Отвертки шлепают, прихлопывая его по пяткам.

— В засаду со мной пойдешь?

— О чем речь! — откликнулся я.

— Я думал, откажешься.

Ничего себе, любезное приглашение.

Сборщики утиля от веку сюда не являлись: драные брюки, вата из прорех лезет, истрепанная кепчонка, фуфайка с прожженной дырой на спине... Это — мне? Устроим собакам праздник! Проходу не дадут!

— Павел, ты уверен, что волк возвратится? Сыт по горло, я видел.

Желваки по скулам у Паши заперекатывались. Заломил брови, того жди, отчеканит: «Отставить разговорчики!»

Ладно, ладно, пугалом по деревне пройдем. Ладно, пусть потвоему, будет тебе брови заламывать.

Папирсы взять не позволил. Ничего. Понятно. Он прав. В засаде курить — ни-ни. Но что мы не поужинали... Карaulить волков натошак всю жизнь мечтал. Да скорее я взвою, чем волки!

На скотском кладбище, куда мы поспели после заката, Павел выбрал самое что ни есть неподходящее место: груды камней напротив разрытой ямы. По-моему, гораздо удобнее кусты. Ивняк, ольшаник густые, частые. Другое дело камни, открытые со всех сторон. Главное, ветер от ямы, злое жуткое.

— Чего вы там егозитесь? — цикнул Павел шепотом. — Я вас, между прочим, не звал, сами напросились.

Он со мной на вы! Он еще и в обиде!

Лег — и не пошевелинется. В серой рваной одежде похож на валун.

Валун и есть, глыба бесчувственная!

Бока резало остроребрыми камнями. Немея затекали ноги. Сочтемся, Паша... Попомню твоё «вы» и «я вас не звал»! Стеннело.

Последняя автомашина прошла к амбарам, с усилием толкая по дороге свет фар...

Голова тяжелеет, веки налиты свинцом. На ничтожный миг я сваливаюсь в дрему, и в это время происходит непонятное: кусты ушли. Они отступили в темень, я не заметил, как они ушли, но точно знаю — ушли, пропали. Ночь замкнулась плотнее, проглотив и кусты, и вихор бурьяна, и все-все — ничего не осталось: плоская земля да темень. Темнота не подвластна человеческим ощущениям. Она угнетает. Подавив слух, зрение, она даёт волю какому-то забытому инстинкту, что сродни детскому страху, когда боишься войти в знакомую комнату, если она погружена в потемки.

На шершавых травах оседает роса. Ледяная, тяжёлая. В ней горечь вянувшей листвы и слепое мерцанье редких звезд. Заблудились звезды без поводыря: две потерянно мигают где-то на грани земли и неба, третья — внизу, в провале, на самом дне потемок...

Разлилось неуловимое сияние. Как бы изнутри, меркло, тускло светят бурьян и травы, убранные поля и скирды солом.

Сморенный сном, упал жучок с былинки. Его сбила капля росы. Он свалился на спину, тормозится лапками и замирает.

Вижу окоченелого жучка: вороненные лапки и членистое брюшко, гладкую блестящую округлость надкрылий. Слышу, как ворсистых ладоней листьев касается серебряная роса и свертывается каплями...

Ночь.

Ночь, когда ходят кусты, светит трава, и к ногам, тем, что не спят, ложатся звезды.

Дымка рассеивалась. Светлело.

Видна отчетливей яма. Кусты вернулись, трепещут листьями, ловят вздох полудночного низинного ветра. Лужа, ветер набегит — она сморщится; устоится вода, в ней шевелит лучами, зыблется звезда, тонкая, как прокол иголки.

— У-а-а! — простонало за полями.

Вывался протяжный, леденящий кровь стон из болот, из заплывших вонью, задущенных комариным зудом хлябей, из дурмана хвойников и как бы перекинулся в поля,

к спящим деревням, где бредят овцы по хлевам, улицы пахнут бензином, молоком и чутко дрожат в ночи провода.

От ямы отделилась смутная тень, ускользнула в поля. Лисица навещала! Добрый знак, что не учуяла засаду.

В том, что на нас рванье, есть смысл: в повседневной одежде, пропитанной потом, табачным дымом, хранящей сотни запахов жилья, явиться в засаду — значит обречь дело на неудачу. Нюхом волки не обделены.

— У-а-а, — стонет за полями.

Это старый волк вернулся к выводку. Тот, который побывал на падали. Воют, скулят волчата. Лижут, обнюхивают отца: где был? Что ел? По следам старика — пята в пята — пойдет семья от логова.

Вой умолк.

Идут...

Вкрадчиво царапают когти в палой листве. Тушат шорох шагов намозоленные подушечки лап. Бесшумен волчий барыск. Но затрещал дрозд. Его крик, как эстафету, подхватила зорянка. За ней — крапивник. Шмыгнул с лужайки заяц, обмирая от страха, пустился бежать: волки! Глухарь, просиживавший зоб, набитый кислой лиственничной хвоей, загремел крыльями о сучья в темноте. И лось встал с лежки, ошетинил загривок, задвигал ушами. И медведь, раздобревший на малине, уступает дорогу серым зверям, сопровождаемым писком и хлопаньем крыльев невидимых в ночи птиц.

Идут...

Ломит глаза. Веки горячие. В ушах звоны. Лучше уж было поужинать, все равно как оглох и ослеп! Павел, бывалый пограничник, применил проверенный способ: натошак видишь зорче, слышишь лучше.

А я?

Камни серые отдали накопленное за день тепло и холода. Зябнется.

Ничего не вижу. Не слышу...

Волки подошли перед рассветом. Бот они — справа обтекают кусты.

Мы в низине, зверей хорошо видно на фоне неба.

Павел будто спит. Не сразу замечаю движение стволов его ружья. Медленно стволы перемещаются за стаей, и в этой тяжелой, спокойной медлительности такая сила, что мне не по себе: твоим врагам, Паша, не позавидуешь!

Волки сошлись у ямы полукругом. Выцеливай любого, так что же Павел? По мысленному уговору первая очередь его. Выстрелам бы греметь, свистеть картечи. Чего же тянет волюнку?

Все мое внимание было приковано к волкам, но спроси, горели их глаза в темноте, — не скажу. Не помню.

Помню, что сидели они по-собачьи, на задних лапах, сторожко подняв уши. Помню, вспотела у меня ладонь, сжимавшая ружье, и веки были горячие и воспаленные от напряжения.

Волки занялись падалью. Чавкали. С хрустом дробили зубами кости.

Сильными лапами они глубже раскапывали яму. Не поделили чего-то, поднялась возня.

В рычащий клубок, сплетенье хлыков и когтей, вдруг ударил сноп света. Красный сноп! Знаю, не поверят, но я видел, как летели красные раскаленные картечины. А отдачи в плечо, выстрелов своего ружья не ощутил.

Тотчас вскочил с камней. Вскочил и — ноги подогнулись. Отлежал, онемели.

Два волка в предсмертных судорогах корчились у ямы.

Два? Всего два?

Их было больше...

Павел добил подранков прикладом и, шлепая опорками, поволок за хвосты на взгорок подалее от ямы. Молчком, словом не обмолвясь.

Ну это уже чересчур! Расстегнись хоть на одну пуговицу, рассупись ты — не в казарме ведь, милый ты мой. Порадуйся удаче, черт побери, камень ты бесчувственный!

Меня трясло, как в ознобе. Во рту сухо. Желая поразить сурового напарника, я вынул портсигар:

— Закурим, Паша.

Папиросы взяты наперекор ему.

— На, — протянул я зажженную спичку.

Огонек осветил его лицо. Спичка дрогнула в моей руке. По щекам Пашки текли слезы. Невозмутимый валун, застегнутый на все пуговицы кремень-человек — плакал. Плакал, как мальчишка.

— Что? Что уставился? Зубы... Как ночь, так места себе не найду. Хватит... завтра выдеру!

У него болели зубы. Все время, пока мы сидели в засаде. Да-а, это характер.



СЕНТЯБРЬ — НОВОСЕЛ



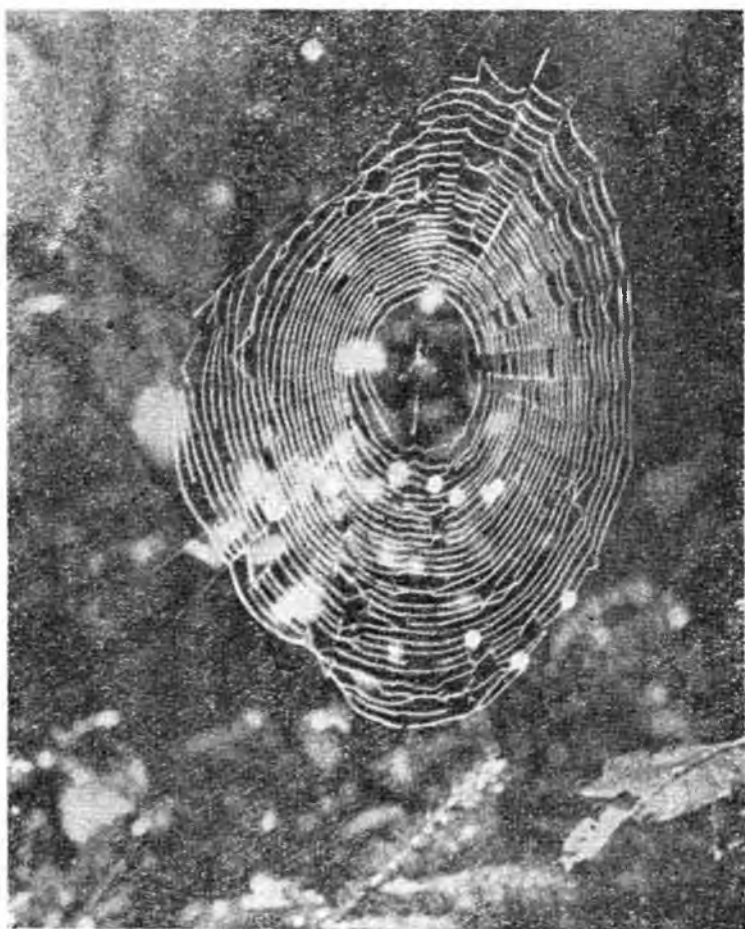
День меркнет нехотя: кострами занимаются березы и осины. Багров закатный луч, коснувшийся вершин елей. В пыль разбитый хвоей, скользит он вверх по шершавым мучкам. Подтекают трущобы синей прохладой, оглохшие от тишины. Одни стволы берез белеют, как приоткрытые двери в волшебную былль осени — в дни красных рябин, дни звона лаутины.

Спозаранок сверкает роса в паучьих тенетах, словно дар осени от лета на новоселье. «С утра — лето, с полудня — осень», — присловье о сентябре.

Бывало, Русь вступала в новый год, когда сено в стогах, прожай в скирдах, хлеб-новина румяной ковригой на стол просится:

Растворю я квашонку на довышке.
Я покрою квашонку черным соболем.
Опояшу я квашонку ясным золотом...

Первого сентября 1699 года Петр Великий в Кремле в последний раз по старине встречал новый 1700 год, чтобы затем отвергнуть трехвековой обычай и торжествами



Густо-густо нанизались капли росы на паучью сеть, сверкают, как бриллианты. Это — подарок осени на новоселье...

с пушечной пальбой отметить уже 1 января. Так что приход XVIII века в России праздновался дважды.

«Ревуном» нарекли славяне сентябрь-летопроведец за бури, за ветры лихие, когда лес ходуном ходит, рушатся наземь старые деревья. На Украине сентябрь — «вресьень». От слова «вресьень», что значит иней.

В сентябре картошку копают, лен со стлищ убирают. В разгаре вспашка паровых полей, тракторы зябь взметывают, готовят почву под будущий урожай.

В огородах капуста да лук ждут своей очереди. Ах, лук, лук — «овощ от семи недуг»! «Сидит тупка в семи юбках, кто ни взглянет, всяк плачет».

Хлопотливо сейчас садоводам: посматривают на небо, с барометром сверяются, не прозевать бы студеного утренника: мороз осенью садам очень опасен.

Притихли ульи на пасеке. Нет взятка, пчелам вынужденное безделье: «Летала птаха мимо страха — ах, мое дело на огне сгорело».

Пожар в лесах, пожар листопада!

Барсуки норы чистят. Бобры занялись ремонтом. Укрепляют перед осенним затяжным ненастьем свои плотины. Хвост в чешуях, широченный и плоский, служит бобру лопатой: хвостом он утрамбовывает глину, ил на запрудах. Сидя на хвосте, бобр отдыхает, карауля покой лесного урочища, и работает, когда валит деревья.

Ночь. Луна. «Хрясь... хрясь!» — падают подгрызенные осинки.

В кустах росомаха. Зубы горят: жирен бобер, шуба драгоценная! И прыжком хищница из засады... Прыжком! Бобр не сплеховал: бац! Здоровенную хвостом отвесил оплеуху, на ногах росомаха не устояла.

Бобр — в воду. Безобидный он, ни когтей нет, ни клыков. Но это не значит, что обижать его можно безнаказанно. А росомаха — в кусты. Еще глупа, молода, впервые самостоятельно охотится.

А вот осеннее диво: у зайчихи маленькие! Сироты бедные, покинула их мама. Хорошо, что посторонняя зайчиха приголубила крошек-листопадников. Питательно густое заячье молоко: раз пососут малыши, трое суток сыты.

Так заведено среди зайцев: дитятки лопухие общие. Свои, не свои — не считается. Если голодны, накорми.

По утрам и вечерам на заре слышны из глубин тайги протяжные звуки. Это лося-рогачи справляют по лету поминки. Трубят лоси в сентябре на заре, что осень в лесу кружит рыжие метели, что низкие серые тучи несут холод и слякоть, что в глазах отлетающих птичьих стай уже светятся созвездия далеких-далеких южных земель...



Ярвая пшеница для уборки созревает, в среднем для Вологды 3 сентября. Год на год, однако, не приходится: в 1960 году к жатве пшеницы приступили 10 августа, а в 1955 году — только 25 сентября.

Самый сильный градобой случился в В. Устье 1 сентября 1797 года: падали осколки льда величиной с грецкий орех!

Самые последние стаи ласточек-касаток покидают Вологду, в среднем по многолетним наблюдениям, 6 сентября.

Первый снег... Не рано ли о нем? Не рано — в 1913 году снега было уже 10 сентября! Обычно первый снег выпадает в Вологде в октябре.

Окончание листопада осины, как правило, бывает в последних числах сентября. И все-таки в 1912 году осина осыпала листья к 9 сентября, а в 1958 году простояла в пестром цветистом уборе до 13 октября.

Кто, где? Куда и откуда?



ВОЛК — переодевается в зимнюю шубу. Волчата по-прежнему привязчивы к району логова. В поле только в сопровождении матерых.

ЛИСИЦА — в полях не прочь использовать... комбайны! Грохочущий агрегат распугивает мышей — лисонька тут как тут! Хватает, не зеваает.

ОНДАТРА — мех ржеет, де-



лается пушистей. Зверьки осваивают новые кормные угодья. Где позволяют условия, от болота к болоту прокладываются скрытые траншеи-туннели.

ГЛУХАРЬ — некоторые мошники-бородачи нет-нет и вдруг запоят, зашелкают: май в лесах, охваченных пожаром листопада!

ТЕТЕРЕВ — молодые петушки в черном пере, в хвосте косицы. Ес-

ли неурожай брусники, клюквы, заморозки побили чернику, осыпалась голубика то тетерева сбившиеся в стаи, переходят на питание береззой почкой. В стылые, с инеем уроженники поют косачи, как по лесу справляют поминки.

СЕРАЯ КУРОПАТКА — выводками утром и вечером наживые. Кормятся вместе ночуют вместе по опушкам и озерам.

ГУСЬ (серый и гусеник) — пролетными стаями на озерах Кубенском, Воже, Белом, на Рыбинском море, по глухим таежным водоемам. Отдыхают и спят на суше — и голова под крылом!

КРЯКВА — селезни исподволь наряжаются в цветной наряд для будущей весны. Подваливают стаи с Севера.

ЧЕРНЕТЬ — валовой пролет с Севера. Скапливается этих уток на озере Кубенском черным-черно по плесам!

ВАЛЬДШНЕП — на время обложных дождей перемещается из леса на открытые луговины, затаиваясь под кустами, где не каплет.

ТУРУХТАН — держит путь на рисовые плантации Индии и Бирмы.

ПОПОЛЗЕНЬ — присоединяется к синичьим стайкам. Свищет по-ямничьи, лезет по стволам

вниз головой, осень поторапливает: ну-ка, круче заворачивай!

КОРОЛЕК — стайками, которые мало-помалу продвигаются на юг, достигает к зиме Крыма и Кавказа. На место откочевавших птичек подлетают корольки из архагелеских ельников и сосняков.

СЛАВКА-СМОРОДИНОВКА — Смородиновка? И прекрасно, и держись на смородине, но насекомые поределели, да поспела бузина эти слабочки клюют ягоды. К середине сентября смородиновка исчезает: ее ждут африканские саванны, где баобабы, жирафы и стада газелей.

СВИРИТЕЛЬ — передовые стаи из гущи хвойников перекочевали в городские сады и парки, в деревни на рябины.

ЩУКА — чем холодней вода, тем щука жаднее: жирком запасается впрок!

СУДАК — вдвое, против августа, прожорлив, особенно к концу сентября.

ЛИНЬ — при понижении температуры до +10° залезает в придонный ил на глубину.

БАБОЧКИ — кувшинница, крапивница, траурница порхают кое-где на поздних цветах в тиши застойных полей. Эти бабочки перезимовывают и крылатыми, и в виде гусениц.

ЖАБА — к октябрю зарывается глубоко под землю.

РЫЖИКИ

Знал я одно местечко, хранил и берег. Было за что: попади туда — корзину сполна наберешь. Одних белых грибов. Одних рыжиков. Подняться на бугор в сосняк — пойдут белые. Спуститься вниз к сырой моховине — изволь, рыжики рассыпью. Говорят: «Делу — время, потехе — час». Тут же нередко бывало наоборот. Грибы собираю час, остальное время провожу как хочу. Стали мне знакомыми земляничные поляны, приметные муравьища и даже старушка-жаба. В пещерке между корнями она пряталась. По-



Багряный лист
осины слетел к
ножке гриба...

чему меня не любят? — вопрошали ее печальные глаза. Ну да, безобразна, зато полезна! Бурая, вся в бородавках жабра неуклюже вылезала из-под корневищ, когда я подходил к елке, и глаза у нее были печальные и мудрые, а на спине хвойные иголки.

Славное было грибное угодьё.

А явился раз... Где мои белые? С корнем выдраны. Где рыжики? Сапогами мохсвина истоптана, окурки заброшены...

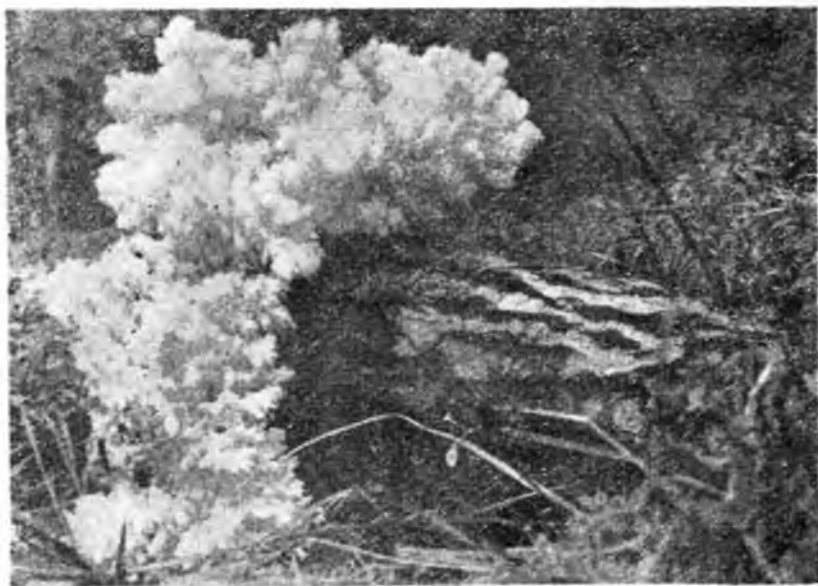
Очень не везло в тот день. Сколько лесу обошел — в корзинке перекачивались по дну три подосиновика, и больше ничего. Без счастья и по грибы не ходят. Попадал я то в болото на гари, то в глухой ельник или поросший травой по пояс березняк, где заведомо и поганки не растут. Наконец на вырубке застрял: ни назад, ни вперед. Коряги, валежины. Кустарник частый, как гребень. Не до грибов,

лишь бы выбраться! Положим, повернуть назад я мог. Набрать сыроежек, опять труда не составило бы возле шоссе. Но что лучше: сыроежки или белые грибы и рыжики? Тот и оно. Ведь что за прелесть были белые-то в моем местечке! Помню, утро было прохладное, руки зябли. Нашел я боровиков на пригреве: все круглоголовые, лбыки у них умные, крутые. Загорелые этикие крепыши на толстых ножках. Солнцем иххватило, были они теплые, брал и ладони о шляпки грел!

И как-то жаба там? К спинке хвойные иглы налипли? Не обидел ли ее кто? Старая она, старая, одышкой страдает...

Отчаянно я продирался сквозь кусты, подогревая свою решимость воспоминаниями о былых удачах, и не предвиделось конца краю вырубке, заколоченной, закоряженной...

Что и было бы со мной, да лоси помогли!



А это что такое! Похоже на белоснежные, мастерской работы кружева. Нет, не кружева! Просто гриб... И вид необычен, и название—«большая курица»! Если учесть, что гриб увесист, тянет до 3—4 килограммов, то даже не «курица», а целый индюк.

Как так?

А вот как. Набрел я в кустах на вырубке на лосинную тропу и пошел, пошел по ней. Известно, лоси зря ноги мять не станут, их дороги самые прямые и удобные. Только, что лосям удобно с их ногами-ходулями, не всегда нам годится. Кочки, валежины. Крапива... Пришлось помучиться, пока тропа лосей вывела в лес.

Точь-в-точь такой же был высокоствольный этот лес, как и заветное мое грибное местечко: повыше поднимешься — белые грибы; вниз, к ручью спустишься — рыжики рассыпью.

Скоро корзина стала располнехонька. Выбрал валежину, чтобы отдохнуть. Ну-ка, кто здесь будут мои знакомые! Синички — озорные белошекие непоседы. На кустах попищали, повеселились — и порх, улетели. Бабочка, желтый махаон, опустилась на лиловый цветок лесной герани, свела крылышки шалашиком, тоже, знаете, в знакомые не желает... Пожалуйста, как вам угодно. Знаете, в друзья не набиваюсь!

Вдруг мимо, шагах в полторах, по просеке важно и медленно прошли лоси. Лосиха с двумя лосятами. Она бурая, в белых таких чулках, ее телята рыжие. Посмотрел я на них, как за мамой шествуют: ну и рыжики!

Это по их тропе я вышел к лесу. И то сказать: лоси не меньше нашего любят грибы. Они грибознаи, каких поискать — из болот к рыжичным местам выходят за многие километры. Однако огнюдь не значит, что, идя их тропой, всегда к грибам летом выйдешь. Если и выйдешь, то уж убродишься: великаны-грибознаи — ходоки, им и десять верст не околица! Просто повезло мне: без счастья, как говорится, и по грибы не ходить.

КОРАБЛИКИ-НЕВИДИМКИ

На заре туманило. Обильная роса стучала по плотной тропе, по корневищам деревьев, и под стук ее в малиннике осыпалась ягода, набухшая забродившим соком и мокрая.

По мере того, как растворялся туман и стеклянно яснел, насыщаясь настоящим мхов и грибной прелью, обогретый воздух, лес из одноцветно-мутного делался пестрым и ярким.

Тени, из которых наносило туманом и росой, были не-

движимы. Они словно прислушивались к чему-то. К перезвону синиц, стайками слоняющихся по вырубке? Или к тому, как выпирают под соснами маслята в непросохшей лаковой кожице и румяные улыбчивые волнушки оправляют пышную кружевную бахрому?

Я вышел к озеру. На его сухом берегу было жарко, летали стрекозы. Муравейник под одиночной елкой так и кипел. Взад-вперед сновали рыжие работнички по дорожкам, волокли всякий хлам, чтобы закупорить входы в жильё перед осенним ненастьем. А на косом угоре лиловели луговые васильки и забывалось под слюдяной шелест стрекоз и сияющем мерцании озера, что лето ушло, что лес полыхает пожаром.

По озеру плыли невидимые кораблики. Видны были одни паруса, столь же диковинные, как и кораблики-невидимки. Паруса прозрачно-радужные и тонкие-тонкие.

Это паучки пустились в путешествие. На собственных распушенных паутинах. Безветрие, так легок воздух, что не удержал он крохотных паучков. Они плыли. Плыли на парусах-паутинках, едва касаясь воды и не оставляя следа за собою.

Один паучок взмыл в воздух на моих глазах. Он выпустил паутину длинной петлей и, точно в аркан, поймал в нее слабую струю воздушного течения. Петля напряглась, задрожала, как парус, вобравший в себя ветер. Паук подобрал лапки, понесся с былинки через озеро.

Берег в васильках и ромашках, елка с муравейником, муг и стога сена — родное для паучков. Они вывелись где-то здесь. Между тем, поманил их другой берег — чужая сторона. Там те же травы, стога, лес тот же — горит осинами, светлеет березами, — но зов в странствия для маленьких скитальцев сильнее всякой привязанности, страха перед неизвестным на неизведанных путях.

Летит... летит паутина!

КРАСНЫЕ СЕРЕЖКИ

Дождики заперепали моросливые, грибные. И вот ни с того, ни с сего их сменили холода. По одно утро проснулась деревня, а трава белая, иней выпал. Из печных труб запахло по-зимнему...

На пожни косо понесло из лесу алые и перистые рябиновые, лимонные, в черных крапинах, в ржавых пятнах — осиновые, гремучие зеленые листья ольшани. Шорохи. Шорохи... Шорохи, как шаги, словно бродил по опушкам кто-то неприкаянно. Это осень пришла, осматривала владения и заводила порядки. Суровые порядки, строгие. Лес и рад был откупиться от нее, золото к ногам ее бросал охапками, да осени все мало и мало, и с печальным кличем отправились с родимой сторонки караваны журавлей...

В полдень я примостился на колодину. Термос достал, попиваю горячий чаек. А метель листопада не унимается, шорохи в лесу, шорохи... Пестро на земле. И с листом желтым или алым рядом с кочки то проблестит гроздь спелой брусники, то попадут на глаза янтарно-оранжевые ягоды ландыша, то каплей непросохшей черной туши блеснет вороний глаз. Особенно много майника. У майника листья сердечком, тонкий стебелек, красные ягоды. Что за ягоды! Рубин, чистый рубин! Под елками, в сумраке хвойном, и то светятся, как драгоценный камень!

Сквозь шум листопада слух различил новые звуки. Я понял: рябчик по земле бежит. Скоро увидел его, как он пригибается, прячась за кочки. Лапками поцарапает, поклюет из копанки, дальше бежит. Ягодка попадется сморщенной черники — тоже склюнет... Что ж, я, охотник, чайком занялся, рябчик, дичь моя, обедом — оба при деле!

Любопытно, что рябчик близехонько и меня не замечает. Серенький он, с красными дужками бровей, с черным галстучком на шее. На темечке кисточка из пестрых перышек — хохолок.

Ландыши рябчик не трогал, а едва напался на поросль майника, даже привстал, хохолок встопорщил. Засвистел: «Пить-пить... пить-питирить!» Рябчиху зовет. Конечно, рябиновый майник ей, серой подружке, очень бы пригодился на сережки. Чудо что за сережки получаются! Фр-рр! Это рябчиха прилетела, опустилась наземь. Заходила, заважничала. Есть от чего: сережек-то — любые выбирай, примеряй!

Только примерять сережки рябчиха и не думала.

Она стала клевать красные сережки. Клевать да есть...

И рябчик клевал, от нее не отставая.

Затем, сытые, рябчик с рябчихой фр-рр! — поднялись на крыло, улетели.

Жалко. Жалко, что не примерили красных рубиновых сережек...

А красные сережки, знаете, им ни к чему. Сейчас, когда осень, у них не сережки, у них меленки на уме. Какие меленки? Обыкновенные. С осени рябчики переходят на зимнюю, грубую пищу: на почки и семена. Поэтому нарочно заглаывают дрсву, камешки мелкие, песок. В зобу они, как жернова, перемалывают, перетирают грубую пищу. А у майника в рубиновых ягодах очень твердые косточки. Клюет рябчик осенью ягодки, кормится, а твердые ядрышки майника на зиму копит. Двойная рябчику польза!

Сережки... На что к зиме сережки? Рябчишкам не до красоты-красоты, если трава по утрам в инее и того и гляди, что белые мухи полетят!

КАТОМ И ПОДКАТОМ

Сошлись у костра. Ружья, рюкзаки, корзины, удочки. Ждали поезда, осенью который пускают из города для грибников. Возник разговор: есть ли в лесу неграмотные?

Мышонок и тот по части уловов в профессору метит. Чего уж распространяться о медведях, волках, прочих крупных и малых хищниках. Дай промашку — вокруг лапы обведут. Бывает, промысловика, который на охоте ноги стоптал, даже зайчишка в тупик ставит. Их, зверье-то, голой рукой не возьмешь, сами на мушку не сядут. Ты умен, а они против твоего ума — свой ум, ты опытен, да они что, простаки? Мышонок... вон мышонок, кому нужен, а тоже хитрит. Носик из норы покажет: ну лапчочкой листья ворошить, ну пищать. Коль случилась у норы сова, тут она — цоп! — а загребла когтями пустое место. Мышонок ведь хитрил, к проверочке прибер: ворошил, пищал — нет ли близко врага? Сдуру сова когтями — хвать, мышонку того и надо, в нору нырь, затаился. Ждать-пождать сова. Терпенье лопнуло, улетела. Улетела — он спять нос высунул: попискивает, листьями палыми шебуршит. Никто не клюнул на приманку, шмыг мышонок из норы, побежал по своим делам без опасенья.

Мышонок, а?

Ну кто он? Путевого щелчка на него жалко!

А птицы? Гнезда строят с маскировкой. Хищников отптенцов отводя, такие номера откалывают — просто актри-

сы. Или возьми тетеревье. Стаей на березах осенью кормятся всегда со сторожами. «Ко-ко!» — и разом зашумели крылья. Чеши охотник в затылке, проклинай, что невзначай сучок под ногой треснул. О журавлях, гусях спору нет. Полет строем, дисциплина, безусловное подчинение вожаку и, опять же, караул при остановках на кормежку. У гусей дополнительно разведка: не сядет стая куда попало, сначала гуси-разведчики обследуют местность с высоты. Умнейшая птица — гусь!

Тут один охотник встал, выкатил уголек из костра, прикурил и бровью этак вскинул:

— Гм... Молчите громче! Глуп ваш гусь, и лапки красные!

Шум, естественно. Кто-то историю вспомнил: гуси, мол, Рим спасли.

Он покуривает. Будто шум его не касается.

— А ты гусей бивал? — приступили к нему.

Бивал, говорит. Доводилось, говорит.

Оно и видно, человек бывалый. Серьезное производил впечатление. У кого ягдташ на десять застёжек, да сморщенный, точно проколотый мяч, стыдливо еловые лапки торчат, хвоей набит. У него — солдатский вешмешок, «сидром» на войне звали. В заплатах мешок, зато с глухариным хвостом наружу. Кто от шляпы до пят увешан снаряжением: ножи, бинокли, фотоаппараты, скрипит ременная сбруя. Треск и блеск! У него — кепка козырьком назад, пиджак подпоясан патронташем, вместо часов на руке компас. Ничего бросающегося в глаза.

Но нет, все же ты докажи: почему гусь дурак?

Молчит. Папирской попыхивает.

Факты выложи! Факты где?

— Я такое вам выложу, — отвечает, — вы меня во враль запишете. Я охотник, вы охотники. На одну мы колodку...

Что правда, то правда, охотники — народ со странностями. Почему-то друг другу не доверяем.

Кое-как уломали его все-таки, разговорился.

Действительно, история с ним приключилась, послушать — вранье чистой пробы.

Дело было осенью. Продрог наш охотник, сидя с ночи в окопчике на отмели и подкарауливая гусей.

Ветер окреп. Моросил холодный дождь.

Гуси налетели перед восходом. Стая голов на пятьдесят-шестьдесят.

Залив в заветрии. Волны подхлупывали снизу в листья кувшинок и гасли, не достигая берега. Чистились гуси, с силой ударяя по воде крыльями, окатывались брызгами и гоготали. Ладные, сытые. К берегу — ни на шаг ближе. Плавают. У охотника расчет весь строился на том, что днюют они на суше. Пух, гусиный помет на берегу, лоточки, продавленные в осоке отдыхавшими птицами. Испытывал наш стрелок тягчайшую из охотничьих мук — муку ожидания, когда желанная добыча на виду, да взять ее — руки коротки.

Внезапно гуси, возбужденно гогоча, вытянули шеи. Сбились кучей, сносило их ветром на озерный простор.

Окопчик устроен правильный, солдатский, с бруствером и бойницами для кругового обстрела. Прикрыт осокой, мхом. В таком на фронте вражеский снайпер и то был не страшен. А гуси?.. Сквозь землю видят!

Скосил наш охотник глаза направо, налево. Эге, молчи громче! Метрах в ста от окопа — лисица. Пасть оскалена, с языка, сдается, слюнка каплет. Жирна, сочна гусятина. Да видит око, а зуб неймет!

Прошлась шажком вдоль песчаной отмели. Повалялась на траве. Следят гуси — шеи навьютяжку.

Заспотыкалась лисица. Большая, да? Явно, не в себе. Просто чуть жива.

Пошатывается. Шажки нетвердые, пьяные. Качает беднягу, с ног валит.

Закрутилась, как собака, перед тем, как лечь...

И гусей заинтересовало: что с лисой — извечным врагом? Го-го-о... Ко-гонг! Ко-гонг! Подгребают против ветра, вертят шеями.

Легла лисица, хвостом подергивает, язык прикушен.

Какое рыжей! Отравы, поди, хватила. Обрабатывают посевы в колхозах химикатами, борясь с сорняками. Та беда, что нарушают инструкции. Мрут птицы. Съев падаль, мрут звери.

Поднялась лиса. Из стороны в сторону ее возит. Проскулила. Сунулась мордой в траву. Откинула лапы. Перекатилась раз-другой. Затихла у самой воды.

Ветер ей шерсть задувает. Дождь ее мочит.

Глаза бы не смотрели! Яды ведь! С ними ли не быть сугубо осторожными? А нарушают. Губят зазря живое от шмеля-медуницы до лосей...

Забыл наш стрелок об охоте. Лису жалко: пропала ни за грош.

— Ка-га, ка-га, — суматошно голосили гуси, понемногу подплывая к берегу. — Ка-га!

Они словно спорили между собой.

— Го-гок... Подохла! Так и надо, полно ей яйца из гнезд воровать, малых гусят душить. Го-гок!

— Га-а? Га-а? Притворяется... Га-а?

Начеку, бдительны гуси — как же, Рим спасли. Но любопытны. Круглые дураки, до того они без меры любопытны.

— Ка-га-а, — горланят. — Га-а!

— Ко-гонг... ко-гонг!

На песчаной косе мелко грузным птицам. Пора выходить из воды. А боятся и мертвой лисы.

Один гусек, наверно из молодых, перед гусочкой козыряя, выбрел на берег отважно. Грудь выставил колесом.

— Ка-га-а! — дерет горло. — Ка-га! Я ее... За хвост ущипну! Пух, шерсть по ветру пущу! Ка-га, ка-га!

А лиса... молчи громче! Стальной пружинной развернулась, вскинула гибкое тело в прыжке... Гусиные вопли, лисий визг, хлопанье крыльев! «Га-а... га-а!» — орал гусек, бил крыльями.

Он не промах, гусек, — увернулся от хищной хватки.

Стоит лиса в воде, брешет вдогон улетающей стае.

Стоит притворица рассырененька. Глаза зеленые, как уголья горят. А хвост — фу-у! Вымок, слиплись шелковые шерстинки. Для лисы хвост — знамя. Пушится волосок к волоску, когда лисица торжествует хитрую свою удачу. Безвольно волочится, как теперь, при жестоких поражениях.

Прыжками, прыжками она прочь — осрамилась, оконфузилась!..

Тут гражданин, у которого из кожаного ягдташа предательски высовывалась еловая лапка, ухмыльнулся:

— Силен байки заливать! Хе-хе... молчи громче!

Пошел от костра, скрипя ремнями, высверкивая всякими висюльками: нож на поясе украшен медвежьими клыками в серебряной оправе, шляпа с пером.

Дернул плечом наш рассказчик:
— Я ж предупреждал...

* * *

Евстигнейч от души посмеялся.

— Катом она, — говоришь, — к гусям? Затейница! Умеет... да-а. Ее не учить, сама ученая. Грамотейка... да-а! Старый промысловик не усомнился в подлинности, как лиса хворой прикидывалась, шаталась, валялась и необычным своим поведением выманила гусей к берегу.

В подтверждение Евстигнейч напомнил о забытом ныне способе охоты на гусей во время весеннего и осеннего перелетов. Раньше гусей водилось гораздо больше. Осими вытапывали. В хлебных полях зерно молотили, — очень они прожорливы. На месте гусиной дневки охотник приготавливал окоп или строил низкий шалаш. Заранее, разумеется, потому что гуси впрямь необычайно пугливы. К любой перемене обстановки относятся подозрительно. Места дневок — берега глухих озер, бугры у рек с широким обзором во все стороны — у них из года в год одни и те же. С ночи являлся охотник в засидку. Брал с собой собаку. Отнюдь не охотничью — просто дворняжку, предпочтительной рыжей масти. С рассветом гуси подваливали стая за стайкой. Стоит одной опуститься, как к ней присоединяется другая: все спокойно, опасности нет, если сидят соплеменники. Охотник, соблюдая осторожность, высаживал собачонку, кидал ей хлебные мякиши. Собачонка юлила у окопа, подбieraя подачку. Важно, чтоб она не обращала внимания на гусей. А они — жертвы собственного любопытства — пешком и в плавь приближались к охотнику на верный выстрел.

То есть повторялось то же, что и с лисой-притворщицей!

Набил Евстигнейч трубочку.

— Это что — лисий накат! У меня у самого был подкат — разлюли малина! По первопутку выпросил это у бригадира лошадь. По трудовням получить сено. Навил воз, еду обратно. Солнышко, снег блестит. Добро. Дородно. Еду, а в поле на виду у деревни мышкует лиса. До-о-брая огневка: шубейка у ней выкунилась, чистый шелк. Да-а... Ружьишко-то при себе. Пес, пушай его домовничает со старухой, а с ружьишком не попускаюсь. Привычка... да. Ты говоришь: гуси любопытны? Лисица им не уступит. Встре-

тится ей скирда, стог сена — неспопутно, но привернет. На-
верх заберется, вокруг посмотрит. Клочок газеты по полю
несло, за куст зацепило — обнюхает. Что, почему и отку-
да — все бы ей знать. Вот она какая, кумушка-забавница!
На возу я и смекаю: не подытаться ли?.. Снег не уброд-
ный, Карюху я вожжами: но! но, милая! и свернул с доро-
ги. Наискось по полю правлю. Лиса бросила мышей ло-
вить. Драла даст... ей-ей, убежит! Кубарем я с воза. Да на-
катом... верь-не верь! — накатом к лисе. Стоит. Умна, куда
как ловкая, а любопытна... Ох-хо-хо! Стоит, смотрит! Катил-
ся я, катился, поди, шагов двадцать или того поболе.

Старик рассмеялся:

— На деревне дивились: ладно ли со стариком? По по-
лю, ну-ка, катается!

— Добыл ее? — спросил я.

— А то нет? — пыхнул Евстигнейч трубкой. — Дале-
ковато было, правда. Ружьишко, однако, вынесло. Вот так-
то... Она, значит, катом, да мы к ней подкатом!



ОКТАБРЬ — ЛИСТОВОЙ



Слыл этот месяц в давние годы «грязником», «листобоем» да «назимником». По примете, в октябре «зима со бела гнезда сымается, в гости собирается, говорит: дай-ка я на Руси погощу, деревни-села навещу, пирогов поем». «В октябре Трифон шубу чинит, Целагея рукавички шьет».

Заосеняло. Пусты поля, огороды: капуста и та убрана.

В садах страда. Новые посадки закладываются. Малину на зиму подвязывают, укрывают землянику торфом да опилками. Тлеют, чадят подоженные кучи собранного с гряд хлама.

Снег выпал под вечер. На то и октябрь: когда чем землю кроет — когда листком, когда снежком!

Ветер-сивер в лесу, черные мокрые ели, сивые лохмы лишайников. Течет и каплет с сучьев, с кустов, булькает в лужах... А поднялось солнце — снег слизнуло, будто век его не было!

Выпадают в октябре ясные погожие деньки. Только в разгар осени бывает такое голубое небо, такие рассветы, когда с полыханьем зари спорят багряные осинового перелески. Берзовые рощи раньше восхода светятся, зато в ельниках за полночь таинственно сумрачно, пахнет мхом, папоротниками и хвощами.

Октябрь — к зимовке сборы.

Куница, шмыгая по валежнику, обнаружила брошенное гнездо глухарки. Яйца протухшие, наполовину высохли. Все равно в дупло унесла: авось пригодятся. Горностай, тот устроил склад под камнем, Лазейка узенькая, одному горностайке и проточиться — сторожа не нанимай, никто не попадет! Хорек случайно наткнулся на лежбище лягушек. Всех покусал: и живы, и лапкой квакуньям не дрыгнуть... Вот и запасец, который кармана-то не дерет!

Торопливей, чем листки календаря, обрываются листья с берез. Шуршат, валятся, нанизываясь на синичий свист.

Глушь. Пустота. Бурые тучи наплывают, новым снегом грозят...

В морозное утро вдруг услышишь, как треснет от холода набрякший сыростью сучок. Второй, третий... Еще и еще!



Холодно...
Распушил свои
перья нарядный
свиристель.

Это уже зима нетерпеливо стучится. Стучится, с осенью спорит:

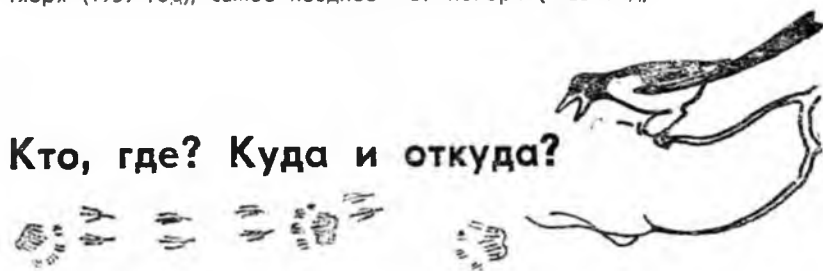
Осень говорит: озолочу!
А зима — как я захочу!
Осень говорит: поля в сарафан наряжу.
А зима — под холстину уложу,
Весна придет — покажет!



Липы в Вологде осыпают листья обычно к 2 октября. Тем не менее в 1900 году золотыми они стояли исключительно долго — до 29 октября. Напротив, в 1921 году листопад лип завершился рано — 6 сентября. В октябре насквозь прозрачны березняки, тогда же впервые за осень лужи стеклит первый ледок. Но случается, березы в листве до 23 октября (1955 год), лужи не замерзают до 2 ноября (в том же 1955 году).

Установление снежного покрова... Ах, опять о снеге, о морозе! Но что делать, снег в октябре обычен. Так в 1946 году снежный покров в Нюксенице окончательно установился 13 октября, в Вожеге того раньше — 12 октября.

Забереги на озере Кубенском появляются самое раннее — 3 октября (1939 год), самое позднее — 29 ноября (1923 год).



Кто, где? Куда и откуда?

ГОРНОСТАЙ — не дожидаясь снега, побелел, один хвостик черной кисточкой.

БАРСУК — «выцвели» шубы:

отрос более светлый, теплый и густой подшерсток. Барсуки летнего выводка роют отдельные норы — расширяются подземные городки!

БОБР — занят рубкой и сплавом леса вплоть до ледостава. Валит и очень толстые, в полметра диаметром осины, и мелкие, а особенно ивняк. Ствол разделяет на чурбаки и гонит по каналам к запрудам. Рядом с жильем создаются подводные склады. Наступившее похолодание заставляет утеплять жилые норы и хатки, укреплять плотины. Разгар строительных работ и кормозаготовок падает на последнюю декаду октября — начало ноября.

ЛЕТУЧИЕ МЫШИ — в большинстве своем отлетели на зимовку. Очень редко над водой в сумерки можно наблюдать лишь кожанков.

МЫШОВКА — родственница тушканчика из знойных пустынь. Тот прыгун, а она акробатка: лазает по кустам, помогая себе длиннющим хвостиком. Чуть повеяло холодом — и пропали хвостатые. Залегли лесные акробатки спать под трухлявые пни в гнезда, утепленные травяной ветошью, древесной трухой.

РЯБЧИК — на пальцах ног, как и у других лесных кур, появилась роговая бахрома: жесткие зубчики нужны, чтобы птицам удобнее было держаться зимой на скользких обледенелых ветках.

БЕЛАЯ КУРОПАТКА — будто на лыжах ходит, так густо лапки обросли жестким пером и удлинились, сплюснулись ногти.

СКВОРЕЦ — сборища перед стартом на отлет, порой в одиночку и тех же местах. Так, за Вологодой в луговых кустарниках у мясокормината наблюдались стаи скворцов в 100—120 тысяч птиц.

СНЕЖНАЯ ПУНОЧКА — с ост-

ровов Северного Ледовитого океана, из тундры добралась до Вологодчины. Соединяется со стаками овсянок, летая по проселкам, в зарослях бурьяна.

УШАСТАЯ СОВА — простилась на зиму с глушью лесной, ночами летает близ деревень. Караулит мышей со столбов электропередач.

СОРОКА — прибывается трещетка-белобочка к жилью, где дымом пахнет. На изгороди сидит, хвостом трясет — зима скоро... скоро!

СЕМГА — в Онежском озере кого холода в сон клонят, а у семги-лососа весна. Рыбины принаряжены. У самцов бока темносиние в красных пятнах: чем старше, тем пятна ярче. Плынут стаями в реки, на извечные нерестилища.

ПАЛИЯ — считается самой вкусной рыбой в мире — и по праву! В Онежском озере как и повсеместно, где обитает, палия нерестится осенью раз в несколько лет. Икра крупная, как красная смородина, количество ее невелико.

НЕЛЬМА — в Кубанском озере нерест проходит при температуре +3—8°, непременно на глубинах на самом дне поблизости устьев рек и реках в Кубене и Ельме. «Постоянную прописку» в Кубанском озере получила в 1834 году, когда была построена плотина на Сухоне для регулирования стока.

РЯПУШКА — мечет икру в озерах Белом, Онежском и других в Рыбинском море накануне ледостава. Вообще прохладу любит, и летом ряпушка гуляла у самого дна.

САПОЖНОЕ ШИЛЬЦЕ

Падали листья, срываясь с сучьев, когда задувал ветер сильнее. А вот не с сучка, вот прямо со ствола березы оборвался пестрый серый листок и упал наискось к подножью другой березы. Нет, не наземь упал он — приклеился к стволу дерева.

И побежал прямо по стволу вверх с писком:

— Ци... ци... ци!

Конечно, какой же это листок, если пищит и, словно дятел, по деревьям бегаёт!

Это — пищуха. Птичка кругленькая. Словно яйцо. Что и выдается, так зубчатый хвост да клюв — кривой, шильцем, каким сапожники работают на починке обуви.

Понятно, пищуха не сапоги тачает, она кривым острым клювиком довольно-таки бойко обшаривает деревья, выискивает в трещинах коры захоронки вредной лесной нечисти.

Мастерица отводить глаза — пищуха! Непоседа, она так и ширыряет по стволу, так и пищет, пищет лапками, а оперение ее настолько сливается с корой, что потеряешь птичку из глаз в два счета. Потому видел ее в лесу не всяк, кто в нем и часто бывает. Кроха-древозлаз, пищуха даже на отдых не улетает с дерева: прицепившись коготками к коре, сидит солдатиком. Головка вверх, вся опора на хвостик. Всегда готова пищуха к действию — искать, накалывать на свой клюв жуков, бабочек, иных прочих вредителей, губящих деревья.

Она и есть солдатик, незаменимый притом в крылатой армии защитников леса!

КАЛИНКА

Медведь на болоте пенье воротит.

Дятел на сосне, на суку жука молотит.

Паук с травки на травку основу снует, пряжу алмазную ткёт.

Белка на солнышке калину-ягоду сушит. Сушит, сушит, хвостом машет, мух гоняет:

— Кыш, брысь, окаянные! Запас, да не про вас!

Это присказка, а сказка впереди. Сказка, не сказка —

все бывальщина. Лесная, диковинная — думай, не думай, нарочно не придумаешь...

Темный овраг. Мрачно, глухо в парной его дремучести. По пояс папоротники. Валежины, колодины гниют, вороха листьев мокнут в лужах у корневищ елей, и терпкое дыхание мхов, травы-валерианы пьянит, кружит голову. Как шагнешь, так и лягушку вспугнешь. Скопились в овраге квакушки. Подоспело время в мох зарываться.

Выпрыгнет лягушка из травы — темечко на солнце осветит короной.

Что ни лягушка, то царевна...

Вдруг налетела в овраг на багряные рябины стая дроздов — тишина вдребезги!

Шум, толчея, всплески крыльев. Как дробь, застучали по палым листьям ягоды: много рябины дрозды клюют, того больше наземь крошат.

Кричат дрозды, трещат:

— Ра-ра... тах-тах-тах!

— Тах-тах!

— Тах!

Одну рябину обклевали, другую...

— Ра-ра... тах-тах-тах!

А с прогалины, с кудрявой рябины как брызнут в испуге! Кто их там пугнул?

— Цок! Цок! — защелкало с поляны.

У белки хвост на пробор расчесан. Машет белка хвостом, свистит, ворчит, у пенька скок-поскок.

На пеньке, на моховой подушке, кучкой разложены красные ягоды.

Сушит белка калину. Сушит, сушит — хвостом машет, дроздов гоняет:

— Кыш, брысь, ненасытные! Ай вам на рябине ягод мало?

Подошел я к пеньку: белка от меня скок-поскок — да на еловую лапу, да выше и выше винтом по дереву. Сверху смотрит, хвостом дергает.

Отщипнул я ягодку. Ай да калина-малина — кисла и сладка, язык кусает, слезы из глаз! Взял и выплюнул.

Медведь на болоте пенье воротит. Паук с травки на травку основу снует. Белка калинку сушит... Сказка в руку!

МЕДОК В САНЮЖКАХ

Иней пошли: по утрам травы, живые в серебряных узорах. Редеи, заснежили бережки. Валится, валится лист... Ну, а в полдень — солнце, теплынь. Зеленеет отава. Проглядывают золоченые, в черных ресничках глазки голубых незабудок. И пахнет прелею грибной, и облака белые курчавятся, и дали синеют с потаенной лаской...

У входа в лес — кусты чертополоха. Ощетинились колючками, не подступишься. Похожи эти цветы на кисточки для бритья.

А шмелей, шмелей-то собралось!

Мне сразу вспомнилось Кубенское озеро, закованное льдом, пора жестокого бесклевья, когда, тоскуя, рыбаки блесенки, наживку меняют, пробивают и пробивают новые лунки, а едва у кого-то клюнет хоть ершишка — голова да хвост, остальные колючки, — как сбегаются к счастливцу рыбаки. Пробивают вокруг него лунки. Только пешни сверкают! И несется клич по озеру:

— Вот один обрыбился!

Наверное, и у шмелей так. Слетелись на чертополох, еда один шмелик «обмедился».

Осень — такое время: стиветают травы, и для работяг-шмелей медок нынче в санюжках ходит.

РОМАШКА

Она клаялась мне — одинокая ромашка на лугу, выжженном заморозком. И ромашке было нужно чье-то внимание и участие. Шел октябрь, и низко стлались, наслаиваясь, хмурые тучи, рощи стояли немые — растеряв листья, утратили и свой бойкий зеленый язык. А вчера над деревней проплыл караван запоздавших лебедей.

Ромашка в сером, жухлом просторе луга сняла незакатым солнышком. Желтым солнышком с белыми лучами-лестками. И оно согрело меня. Мои мысли уносились в лето — в жаркие дни сенокоса с росой по утрам и криками коростелей из утреннего тумана.

Опрятная скромница на тонком стебельке... Идя проселком, я всегда искал ромашку глазами. Тут ли ты?

Когда поднимался ветер, ромашка напрягалась, сопротивлялась его порывам. Стихал ветер, и она устало поника-

да кудрявой головкой. Но белые лучики светлели по-прежнему задорно. Белые брызги на сером дугу!

И вот вынул снег.

И стало все вокруг белым бело.

И погасла ромашка. За нее теперь бело сияли снега...

ЧЕРНАЯ РАДА

Задувший под вечер сивер садил дождем со снегом. Темень, слякоть. Погодка — добрый хозяин собаку на улицу не выгонит! Бредешь, спотыкаешься, а в лицо снегом лепит, тужурку хоть выжми, на сапогах волочишь по пуду грязи...

Отрадно с сырости, с промозглого холода попасть под крышу!

Хуторок в полях. Одна изба, и у той окна слепые. Ну что ж, окна заколочены, зато двери открыты. Чем под стогом ночевать... Решительно протопал через сени. Э, кто-то уж есть здесь!

Выгороженная дощатыми заборками кухня. Печь топится. На столе чайник и свеча. В углу ружье прислонено.

— Обогревайся, — сказал мне человек, сушивший перед печью на ухвате свои пертянки.

— Много вас? — спросил я.

— С тобой двое, — усмехнулся он.

На подоконниках окурки, мусор. Пол устлан сеном, смятым в труху. Знать, не мы первые пристанище находим в брошенной избе.

Ветер налетал порывами, колебалось, ложась набок, пламя свечи, в трубе завывало, всхлипывало, свистело, и жутковато становилось при мысли, что кругом сырые леса, болота и болота, — есть ли им конец и край? — а до шоссе сутки ходу сквозь слякотное ненастье.

О том, как соседство под одной крышей, да после горячего чая, да в дурную погоду располагает к дружественной приязни и задушевности, я полагаю, распространяться лишне. Случайная встреча, но поделились, что там у нас припасено в рюкзаках, закусили, свеча оплыла и погасла, сумерничаем, и ощущение — будто век жили двери в двери. Мнение: чтобы человека узнать, надо с ним пуд соли съесть, — столь же распространено, сколь и ошибочно. Относительно охотников, по крайней мере. Соль солью, но кто

какой номер дробин предпочитает, имеет ли пристрастие к глухаринкой охоте или преследуется утками, где бывал, в каких местах... Ей-ей, это среди нашего брата существеннее пуда соли! Уже одно обстоятельство, что мы очутились оба в этой глуши, рекомендовало нас друг другу.

— Места, ты говоришь? Н-да... — рассеянно протянул мой новый знакомый. — Это, конечно, дело — места знать. Есть они всякие. А наверняка всех любее они в родной стороне. Страна детства и все такое. Но как раз там однажды случилось мне по страху ходить, где мертвый хватает живого.

— Это что, из побасенок на сон грядущий? — засмеялся я.

— Не-е... Я вполне серьезно. Хочешь, посвящу, как по страху-то ходят?

Из вежливости я отмолчался. Валий, ночь долга, успеется поспать. С выводами тоже успеется, что ты там наговоришь.

И он начал. О том. «как по страху ходят, где мертвый хватает живого».

* * *

Попадать к нам... не приведи бог! С поезда на попутный грузовик, коль изладится оказия. С грузовика на почтовую лошаденку. Засим легкая, километров на пятнадцать с гаком, разминка пешком...

И будет телега. Телега-навозница, задравшая в небо оглобли. Петухи по деревне горланят. Сорока на крыше амбара вертится, щекчет-стрекочет, вести ворожит.

И ближе какой-то троюродной тетки и родни нет...

Да ладно! Рыбалка. Рыжики. Вылазки с ружьем... Дни напролет я пропадал в лесу и на озерах.

— Покинул бы уды-то... К праху бы твое ружье! — выпеняла тетка. — Слышал, Никола-Росомаха потерялся? С милицией искали. Сузем у нас, батюшка, долго ли до беды.

Росомаха потерялся? Вот так новость!

Николой бабки пугали детей:

— Поревн, ужо ты бобыль в пестере унесет.

Его боялись:

— Он может!

Что может, не уточнялось. Может, и все.

К собственной выгоде Никола давал повод к темным толкам. Бывало, возвращается с охоты непременно середи-

ной улицы. Шкурами увешается: связки беличьих, волчьих хвостами дорогу метут, а еще кушны, рысьи. Сам без шапки — не носил и в морозы — овчинная безрукавка распахнута, наружу грудь, поросшая курчавым волосом. «Как промысел, Николай Афанасич?» — спросят. «Что? — черные его произительные глаза как смолой кипят. — Что? С лешим, шшь, в дурочки дулись».

Осклабится, захохочет — понимай его как знаешь!

В жару летом, бывало, пойдет Никола в лес, и лыжи на плече. «Куда слялся, Афанасич, с лыжами?» — «Не бай, не бай! Водяной погостить зовет, пива наварил, Черная Рада ежедень куреет курила».

Расколомаченная борода. Сутулая кряжистость. Руки висят ниже колен. Под нависшими бровями беспокойным блеском горят зрачки: изгибает, выворачивая белки, как кипятком опарит. Такому не диво у водяного гостить, с лешим в карты дуться: неспроста ведь с лыжами среди лета не растает... Неспроста по иной день круглые сутки, бо-быль он клятый, печь в избе шкварит, искры из трубы столбом. Небось приворотное зелье из трав выпаривает!

Или вот помню: к колодезю утром ведра звенят, и Никола на крыльце покажется:

— Уа-а-а... Уа а! — распялит рот диким воплем.

Женщины, побросав коромысла, опрометью к избам: ой-е-ей, волки!

— Уа-а-а! — с крыльца Николиной избы тягучий вой, мороз от него по коже.

— Уа-а... а-а-а! — вдруг ответное, звериное, глухое отку-да-нибудь с Наволок или Сяндомы.

Никола бороду распушит:

— Х-ха, отзываются! И-их вы мои, пятьсотрублевые!

Уж точно, в петлю, в капкан ли — тех волков возьмет. Умел он их подманивать, чтобы открыли логовища. За каждого волка премию — пятьсот рублей по прежним деньгам — вынь ему да положи.

С чудом граничили его охотничьи удачи. За троих заурядных промысловиков Никола сдавал дичи и пушнины, не говоря о том, что изрядную долю мехов он втихаря сплавлял в город, как говорится, «налево».

В колхозе обстояло неслабно. Трудодень — палочка в ведомости, распинись и забудь. Пушнина же Николе, раз

добывал ее помногу, давала изрядный барыш. У кого пусто, у него густо. Без сахару за самовар не садится. Деревенские перед ним в долгах: кто муки, кто денег занял — кланяются, оказывают уважение. Как же... у кого после займешь?

Подперев бока, куражился Росомаха, ноздри раздувал:

— Х-ха... Все у меня в горсти! Хочу — сухомяткой ем, хочу — с маслом пахтаю.

Собак держал ораву. Куска им не бросит: «Найдут пропитанье!» Вор на воре псы, рыскали, где бы что украсть. Шерстью все в хозяина, потому что Никола неукоснительно держался правила: «Кого смог, того и с ног. Тяни, волокни! Небось у всех руки-то к себе гребут».

И Никола пропал? В лесу? Невероятно!

— Где его собаки?

Рукой тетка махнула:

— Придушили! Бедой были пакостливые, все бы им на блажь, все бы чего своровать. Остатняя скрывается, и по ней веревка плачет.

Вот оно что! Не раз уже приставала ко мне собачонка. Считал, ничья. Приблудная. Направляясь на охоту, изгородь в поскотину, на пастбищные угодья минуешь, она вывернется из кустов, свистну ей — прышет лапками впереди, хвост, завитый кренделем, трясется.

Ласковый, послушный песик. Облаивал дичь боровую. Надо — в воду за подранком сплавает, надо — не присядет на место, день-деньской со мной лазит по болотам.

Когда после выстрела грузно валился глухарь распластать на мхах бурные крылья и, отставая от его падения, плыли по ветру пушинки, выбитые дробью, я с трудом сдерживал порыв расцеловать собачонку прямо в ее мокрый нос: умница, без тебя охота не в охоту!

В деревню за мной собачонки не шла. Убегала. Пряталась.

Изловчился однажды, посадил ее на поводок. Боронила дорогу лапами, упиралась, скулила, — привел домой. Забралась собачонка в занесен, потыркивала, прижав уши. Зырк-зырк глазенками-щелками — да пулей в окно! Ребятинки вечно у пазы отараплив, приезжий чужезек — им любопытно. Увидели вынырнувшую из окна собаку — шум, гвалт. Схватили: «Изведем росомашину породу!» Оттял, когда поволокли топить с кирпичом на шее.

Пропала моя добытчица: по лесу искал ее, звал — безрезультатно.

Взамен привязался ко мне соседский парнишка. Миша. По-деревенски, Михря.

Берданка — на веревочке затвор, ложка в трещинах. Кожаная сумка под дичь — ремень длинный, и она болтается, бьет по коленам. Ожидая выстрела, Михря зажмурился. «Б-бух!» — рывкала Берданка, заряд обыкновенно летел мимо.

— Кажись, пороху не жалел, — тосковал Михря. — Почему я мажу-то?

Если дробь достигала цель, он орал от радости:

— Загадал! Загадал!

За уткой в воду Михря кидался в обувке, один картуз, отцовский, налезавший на уши, снимал на берегу: еще утопишь. Хватал дичину по-собачьи, за шею, бил в воде руками и ногами — плавал-то неважно, — и выбросив утку на берег, снял гордо:

— Как я ее! Цоп за пищевод — не рыпайся!

Парнишка мечтал о настоящем промысле. «Обзаведусь путиком, — говаривал, — душа станет на место. Мамке будет подмога: нас у ней пятеро, всё дробь — мал-мала меньше, и тятя на фронте погиб».

— В чем же дело, Миша? — как-то ему говорю. — Наладь собственный путик, и вопрос исчерпан.

— Может, в Черной Раде путик? — странно посмотрел он. — Не-е, ни в жись. По страху ходить — больно мне нужно.

— По страху? Что ты сказал?

Сопел он, краснел. Наконец я вынудил, признался:

— Покойника боюсь. Нечисто у нас, сузем Николой зачуркан: кто его следом пойдет, живя назад не вернется. Ставь крест... ко!

— Ты в своем уме? — высмеял я его, — ченуху порешишь. «Покойник», «зачуркано», «крест»... Дурит вас Никкола, спорим, что отскакивается в избушке на путике. Собаки были дома? Знаешь, это не довод. Случалось, я помню, по месяцу они бегали по деревням без призора... Слушай, — потом говорю, — наведуся-ка я в эту Раду: что это о ней все слуха да слухи...

Время раннее. Дорога в общих чертах знакома. Все-таки

я местный. Хм, Черная Рада! Будем посмотреть, как говорится, черная она или просто серенькая!

Миша носом подшвыркивает, набычился.

— Не ходи, дядя Толя. Топь перед Радой, провалы — ни дна, ни покрышки. Летось кобыла Малинка... ну, которая молоковозка. Хромой Никаха в шляпе ее водил. Чтобы голову солнцем не напекло. Смехота — лошадь в шляпе! Выпустили, ушла Малинка в Черную Раду и до сих пор нет. Поди, водяной ее пасет!

— Миша, — смеюсь, — с кем ты меня сравнил, с Малинкой в шляпе?

— А Никаха? Сапер — во, на большой палец. Рокоссовскому мосты строил. «Я да Черну Раду не осилю? Саперы не ошибаются!» Пойти пошел, да обратно на другие сутки едва приволокся. Спросят: «Что с тобой? — он икает, ко-
стылем в потолок тычет и плюется с печи. Никаха... сапер!

С тем и расстались мы. Я заключил, что в деревню малый убер. Утку показать ребятам.

До Черной Рады от заполья два, версты по четыре, перехода-волока. Приблизительно, конечно. Тележная дорога через лес, сено прошлогоднее с возов нацеплялось на кусты.

Речка — за добрый километр дала она о себе знать, перемывая камешки в струях переката.

Покосы. Стога. Пепелище свежее на берегу — я делал на днях привал, жег костер.

Осина — листья, хваченные заморозком, румяные, точно снегири. Сел тогда на осину глухарь, снявшись от собаки с брусничных кочек, шею тянул и хрюкал с сука...

Эх, не добывать мне глухарей без лайки!

Подумал так — собачонка откуда и взялась, трусит ко мне, хвост пушистый, в кольцо завитый, трясется. Не скажите, что собаки не умеют улыбаться. Улыбаются, поверьте, улыбаются! Обрадовалась мне, я — ей: держи хвост дудкой, не дам в обиду.

Через реку лава сколочена — жидкий мостик из жердей. Шатается, скрипит.

Дорогу сменила на том берегу тропка. Заужена кочками, колодником. Сыро, тускло. Скопившийся за многие годы бурелом, вкривь и вкось наваленный ветром. Мох, гниль. С сучьев ключьями лишайники... Хотя бы кустик где глазом найти, хоть бы травинку зеленую! Грузнут ноги во мхах.

запинаются об иструхшие колодины, гнилые осклизлые сучья.

Но прислушаешься — петухи поют. Жилье-то близко!

И что за деревни: две-три избы супятся из-под кровель окнами на картофельные гряды, а пашни и покосы похожи на заплаты... Сорока там щекчет — это к вестям, кошка забралась на изгородь — это к дождю-сеногною... Зброшенно, тихо все и смиренно, и неизвестно, отчего вдруг с пронзительной ясностью почувствуешь боль за дичающие в сурепке и хвощах поля, за махонькие эти деревеньки. Ведь тут моя родина, мое здесь кровное, и если здесь худо, то и мне не будет хорошо, где бы я ни был. В долгу мы все перед избами, перед полями и даже перед сорокой на крыше!

Не заметил я, как вышел к болоту. Камыши качают метелками. Осока струится, переливается, как волны по ней ходят, вал за валом. Ходят, ходят и рябят лужи, озерца.

Ворон кружит. Сытый, словно бы жиром смазан, так лоснилось черное перо. «Кру-у... кру-у!» — гортанно выкрикал ворон, с высоты озирая протоки, озерца и изплывы бездонной бурой тины.

Клином вдается в топь хвойник Черной Рады. Сосны красными стволами горят — огромные, с зеленым дымом свечи. Всего километра полтора отделяют их, полтора километра мхов-зыбунов, которые, уверен, и журавля не держат.

Достав бинокль, в который на охоте обычно высматривал уток, шарил я, шарил — в бинокле те же все камыши, оконца воды, треста и багульник, разве что озерков, луж как бы прибавилось, да сосновый бор виделся ближе и оттого недоступнее.

Молод я был, горяч и самонадеян. Поверну назад? Я? Отступлю перед паршивыми лужами? «Нечисто», «зачуркано»... Черт знает что такое!

Забрало за живое, и сколько я попыток предпринял, чтобы хоть спуститься в болото... Правду говоря, голову начал терять. Ступи от суши на шаг — готово, на ногах не держишься. Мох пузырит, прорывается его жидкая пленка, и уходишь в трясину по пояс, тебя тянет, засасывает... Лыжи бы! Никак бы лыжи не помешали! Вода ледяная, грязная, с торфом вперемешку. Судороги от нее брали. Вымок я, озяб — посинел, и зуб на зуб не попадает.

Собачонка, лукавая bestия, казалось, ухмыляется на

мои потуги. Скалит зубки и знай себе чешет задней ногой за ухом.

Зло меня взяло. Выскочил на берег, замахнулся:

— Пшла прочь!

Она шмыг с берега. В топь, в воду. Поплывет? Нет, маленькими шажками по воде: чмок, чмок. Ровненько, как по ниточке — чмок! чмок!

Конечно, конечно, есть ход через трясины! Есть мостки! Хитер Росомаха, лучшая маскировка — стлань под водой пустить. К тому же древесина в воде дольше сохраняется. Хитер, но и работащ. Адский был труд таскать в болото бревна и укреплять на подкладках: без опоры они утонут. Зимой рубил кряжи, на себе носил сюда, где летом даже на легке тонешь.

Забилась серая водянистая пучина, в бездонной ее прорыве что-то ворочалось, дышало, с хриплым клекотом пузырил газ.

Я обернулся: распрямляется осока, влажные пружинистые мхи подавно не хранят следов. Камыши выше головы... Заблудиться в топях — этого не хватало!

Нарубил ножом ивовых веток. Прутьями, кусками торфа, узелками на осоке и камышах принялся отмечать переход.

Бревна располагались по топи нарочито путанными зигзагами. Их скрывали воды и мхи, ползущая травка и хвощи. Сбивалась собака: вплавь, бултыхая в торфянистой каше, искала продолжения мостков. Я ее взял на поводок, так надежнее.

Ежеминутно оскальзывались мы в зыбун: на мне ни нитки сухой, у собачонки бока запали, как бесенок, в тине вывозилась.

Гнилую вонь напускала топь, ни ветерка, воздух застоялся и был отравлен ядовитым дыханием багульника.

А сзади мерещились плеск воды, шуршанье камышей, чавканье тины — звуки шагов. Против воли заглядывался. Кто? Кто там?

Никого! Один ворон кружит...

Солнце запыленность стояло, когда мы с собачонкой выбрались из болота.

Красные сосны, белый ягельник. Суша... Наконец-то суша!

С бугра на бугор, лужайками и прогалинами потянул-

ся путик — с него Никола дань лесную брал. Некоторые охотники в те годы бросали промысел: зверем, мол, леса оскудели, пушнина не в цене, а Никола связками меха носил, дичь пестерями. Отсюда носил — из Черной Рады.

Не вдаваясь в детали, путик — это линия самоловов. Иногда низкая частая изгородь из хвоя, плотно пригнанных жердей, веток, прутьев, где через сто-двадцать шагов изложены ворота для западней. Иногда попадались и просто одиночные ловушки. Мох там с земли содран. На таких расчищенных площадках — «гуменцах» боровая птица: глухарь, рябчик, тетерев — купаются в песке, чистят перья. В воротах изгородей, то на пнях, то прямо на земле и на срубленных деревьях — везде плашки, западни-слопцы, петли. Крепко, прочно, если хотите, с умом все сделано. Площадку с песочком, чтобы дичь к ней привадилась, не в любом месте устроишь. Густы кроны сосен, лишь в бреши в хвое падают лучи солнца, достигая земли. Падают, растекаются пятнами, от сухих мхов сочится терпкий аромат. Здесь, только здесь, на припеке, да на бугре всего добычливей ставить на птицу западню или сильную петлю! А куница, скажем, по поваленным деревьям стремится бегать: нет валежины — так само дерево сруби!

Километр за километром тянулся путик.

Поднимешь бревна западней — под ними груды затхлых перьев, кости, протухшие тушки белок, зайцев. В петлях гнет давленная птица.

Разбой, да нас ли чем удивишь — так мы небрежны к тому, что имеем, хоть и повторяем к месту и не к месту: мать-природа! В самом деле, в автобусе воринка полезет в карман, ну, тут мы сто! Сжимает воринка в потной ладошке пятак или там горсть мелочи. Не важно, сколько украл, важно — украл! А лес? Природа? Возмущаемся небрежением к природе, осуждаем и все такое. Но дальше что? После благородного негодования — что?

Приятель в лесу срежет лихим выстрелом дятла: «Душа, знаете, взыграла». Пожурим его, конечно. Зачем, слушай, так-то? Полезная птица и все такое. Руку, стрелку, однако будем подавать: стоит ли портить отношения из-за пустяка? Руки не подадим, спиной отвернемся, — тоже, извините, позиция! Главное, удобно — спину показать. Я свое отношение проявил, и что творится за моей спиной... Есть законы, общественность!

Я повторяю избитые вещи. Не ново, конечно,... конечно. Но река, превращенная в сточную канаву, — ново? Отравленный зловонным дымом из труб воздух, парк в пригороде, замусоренный консервными банками, обрывками газет и стонущий от транзисторов — это ново? Ново, если на машинах с зажженными фарами давят по вечерам зайцев? Если рыбу глушат взрывчаткой?

Шел я бором с собачонкой. Кулаки сжимались: ну, Никола... попадись ты мне!

Бор чистый, отлично просматривался, поэтому издали мое внимание привлёк непонятный бугор. Колодина не колодина, муравьище не муравьище. Собака рвала поводок. Подбежали мы... Лось! При последнем издыхании! Подплывает лужей крови, навывлет пробитый копьём.

Копье? Что за недепость... Из ружья убить, петлей поймать. Но копьё?

Древко обломано. Рана сквозная, высорывается зазубренный наконечник. Какой же дикой, нечеловеческой силой нужно обладать, чтобы поразить такую гушу! Копье... Все-таки откула копьё, черт возьми!

Жив? Я прав, и жив-таки Никола-Росомаха?

Вст и его избушка-скрыня. На краю прогалины. Елки лапы над кровлей простерли. Без трубы, курная избушка: топят их «по-черному», то есть дым уходит через дверь либо окно. Мох в пазах. Кособочится убогая.

Представил, как Никола зимой сюда приходит с пуги-ка — что-то перевернулось во мне. Устал вусмерть старик, и обогреться бы, сварить похлёбку, но патронов надо сперва зарядить, шкуры с добытых зверей снять. Вьюга о стены бьётся. Снимает старик шкурки, кровь с пальцев на штаны вытирает. До бровей бородой зарос. Грязь в избушке, чад, копоть... И завтра снова ему в сугробах на лыжах вязнуть, снова в итоге чадная избенка, одиночество, копоть и грязь... Полночью, если поутихнет пурга, издали, из тьмы, из-за леса — петухинный крик. Деревушки там. Ни кустика в них, ни деревца. Истари ведётся: перед домом куст, так и дом пуст. Лес кругом. Свземьё дикое. Его ли беречь и почитать, если кустарником покосы одолевают самосильно, если пашни не заведешь, куда лес не вырубишь, не выкорчуеть!

Век за веком шло: перед домом куст, так и дом пуст. И вообще: кого смог, того и с ног...

Может быть. Никола, давшие Черной Рады нигде не бывавший, не понимал, что времена переменились?

Так много ли чести ополчиться на неграмотного старика? Собственно, кого я затеваю вывести на чистую воду?

Собака, спущенная с поводка, покрутилась, повертелась и села у порога, завyla, как заплакала.

Швырнул в нее чем попало: заткнулся! Отбежала в сторону. Воет. Хоть ты что с ней делай — воет, выматывает душу.

Лавки из жердей. Козлы — дрова пылить. В чурбан воткнут топор. Ружье — стволы погнуты, ложа разбита в щепы.

Снаружи через окно в избушке ничего не разглядишь, темно. Ступил за порог, пригнувшись под низкой притолокой. Сенцы. Рванье какое-то на гвоздях. Дернул за дверную скобу. Не поддается, заперто. Принес топор, полетели щепки. На крючок изнутри было заперто. Откинул крючок и, растворив дверь, успел краем глаза схватить: на нарах, задрев борода к потолку, неподвижно лежит Росомаха... Мертвый...

Знал он, ведал, что творил!

Почувяв погибель, хищники уходят в чащу, забиваются в глушь, куда никому хода нет, и в лютom зверином одиночестве встречают свой смертный час. Так и Росомаха уволокся больной в недоступное логовище.

Собачонка по нем воет, ели, черные монахины, заупокойно шумят...

Шел я обратно, пустяками пытался отвлечься: гриб-боровик ну и здоров, на сковороду не уместится! Муравьиные кучи высоченные, рыжие, одна напротив другой. Чего бы муравьям не объединиться и сбиться в одну, вот гора бы была!

Палоротники, кусты волчьего лыка. Сосны. В стороне низкий овраг, по-местному «рада»: ольшаник по колена в стоячей воде, захапные от сырости ели. Шершавые березы в лищах, шелухатся берестой.

И позади собака воет, и впереди ворон кричит с болота: «Кру-у... кру-у!»

Тоскливо мне было, не чаял, когда и выберусь отсюда.

Вдруг раздался тулей удар. Будто струна лопнула. И стои. Пугающе дико прозвучали и заглохли внезапно эти звуки, больно вырвавшие по нервам.

Послушат: ветер верховой, поджавшись перед зрелищем, угромо шумит, одиночные осынают гремящий лист.

Не но себе становилось от сытых выкриков ворона, от тревожного гула ветра, от мрачного ущелья оврага. Лучше б мне было возвращаться по путику. Да снова видеть распахнутые зевы пастей, закровинелые бревна ловушек, задышаться от смрада... С меня хватит!

Погулял с ружьишкой. Отдохнул, проглот грудовой отлук... То мне шагн в топяк мерещишься, теперь стоны!

Собака взлаяла. Не в избушки — ближе. Взяла и опять зашлась воем.

Неладно что-то! Бросился на ее голос, не разбирая дороги.

Внутренне я был готов ко всему, но то, что увидел, превзошло самое худшее.

Михря стоял спиной к сосне. Свешивал голову на плечо, рубашонка задралась. Он стоял, подогнув колени, без единой кровинки в лице, белом, как бумага.

Копье вошло в грудь, намертво пригвоздив его к стволу сосны. Древко, казалось, покачивалось после удара. Точнее, не копье — длинная гибкая стрела. Стрела самострела.

Михря, ты, Михря! Как же, по-охотничьи разве: ушли на охоту вдвоем, а вернуться ему одному? Не приятно бросать товарища: сузем ведь, Росомахины ведь путики!

Он крадучись пробирался по моим следам топью: западал в камышах, справедливо боясь, что я его верну домой. В бору, вероятно, меня потерял из виду. Услышал вой собаки, побежал, и попалась ему лосиная тропа, и пропустил он по ней...

Росомаха, если что хвалил, приговаривал: «Головой дуmano, руками делано».

Лук тугой, окован стальными пластинами. Сложная система насторожки и спуска. Нечего возразить протнв: головой дуmano, умелые руки приложены к самострелу.

И мертвый схватил живого!

Ружье разбил. Пасти, самострелы перед смертью привел в готовность, и, можно думать, годы и годы после Росомахи зря будет в суземных угодьях гибнуть зверь и птица...

Называется — хлопнул Никола дверь на прощанье!

Древко было липким от крови. Вынулось неожиданно легко. Я подхватил обмякшее тело мальчика, уложил на траву.

Приник ухом к груди. Дышит!

Мигом я ножом распол полпиджачишко.

Счастлив твой бог, земляк! Самострел предназначался на лося, чтобы пустить стрелу на точно заданной высоте. Михря парнишка низкорослый, и ранило его в плечо. Не опасно, кости не задеты. Больше от испуга и боли, внезапности удара малый впал в беспамятство: струхнешь, когда повиснешь прищипленным к сосне! И висел-то Михря больше на пиджаке, то и рубашонка задралась.

Я унял кровь. Перевязал рану. Поднял к его губам фляжку: хлебни, Миша, оклемаешься.

— Дядя Толя, путик-то, — были его первые слова. — Добра, добра-то: носить, не переносить! Дорогу-то теперь я знаю.

Повел мутным взглядом: — Почто пиджак на мне разорвал, мамка заругается.

Пиджак — заплатата на заплате...

Теперь бы поставить точку в давней этой истории о Черной Раде, но буквально на днях пришло письмо из деревни: Михре дали срок. Годами браконьерил в Черной Раде, переняв повадки Росомахи, и попал в конце концов на скамью подсудимых.

Парнишка был ничего, верный. Жизньню рисковал ради товарища: нужно было мужество, чтобы пройти по топи, над которой ворон с горганным криком кружил, лоснясь темным пером.

Задумаешься иногда: черт возьми, а действительно, путики, подобные Черной Раде, способны перерождать в хищников и хапуг без совести и чести в общем хороших людей? Путики, где мертвый хватает живого...

И разве один такой путик в наших-то лесах?

А ты говоришь: места... номера дрови!



Н ОЯБРЬ — ЛЕДОВЫЙ КУЗНЕЦ



Стынет. Тучи влекутся рыхлые, серые, как волчьим мехом подбиты. Беспросветна мгла ненастья. Среди путаницы сучьев, хвои покраснеет гроздь рябины. Покраснеет и погаснет, как тлеющие на ветру искры...

Бывает, очень холдным выдается ноябрь. Солдаты, охранявшие взятый штурмом Зимний дворец, в октябрьские дни 1917 года грелись у костров.

•Огонь
пулеметный
площадь острит
Набережные —
пусты,
И лишь
хорохорятся
костры
в сумерках
густых*, —

писал поэт, очевидец революционных событий в Петрограде.

Чем-чем, а стужей ноябрь оделить может!



Первый
снег.

Однако и поздней осенью случаются погожие деньки. Тепло в хвойных затишках. Комары-толкунцы хороводят. Грезя весной, вдруг напряжняются почки жимолости и зазеленеют.

На польнях галдят кряквы, плавая о бок с гоголями. Утка-морянка протяжно выкликает: «Ауле-е-ей! Аулей!»

До середины ноября держатся у нас лебеди.

«Кто в поябре не зябнет, тому в зимнюю стужу не мерзнуть», — говорит пословица.

Медведь в берлоге — что ему холода!

Полосатый бурундук набил погреба съестным добром. Лежит, подремывает. Проснется, погрызет сладкий

корешок, припасенный с лета, сухим грибочком закусит. У бурундука зима — одна ночь. Длинная-длинная ночь.

У пушистой норки есть холодильник. Не «ЗИЛ», даже не «Саратов», но все-таки: натаскала в щель лягушек, ручей замерз — вот и холодильник.

А на белку клесты батрачат. Налетят клесты на елку. Сколько они шишек наороняют с дерева... Десятки! Уйдут шишки под снег, все белке достанутся. Зимой и весной будет белка в сугробы лазить, доставать шишки. Что ей холода, бескормица, если батраков крылатых у нее — считай, не сосчитаешь. По всему лесу летают!

Пауки — вот хитрецы, забрались в муравьище. Высок, сух муравейник. Паукам обеспечена зимовка.

На дно водоемов залегли караси, лини в тину зарылись... Тепло!

По перволедку отлично клюют щуки, окуни, лещи и плотва, но держатся там, где поглубже, значит, теплее.

Ноябрь — «сентябрев внук, октябрев сын, декабрю — родной батюшка». Ледовый кузнец, ноябрь пруды, озера мостит, реки, ручьи в оковы кует, в плен берет до самой весны-красны.

Трогательны в своей наирности и простодушии предания старины, древние обычаи. В ноябре, например, справлялись «курины именины». Девушки воровали курицу. Кто жадней да богаче, у кого не убудет. То-го, было смеху, веселья: курица-именинница, быть может, одна досталась, а девушек, парней на посиделке — лавок не хватает! В общий суп, конечно, курицу!

Грязные были обычаи. Отразились в них не только темнота, суеверия, но и неунывающий в бедах народный характер, открытый добру, и стремление украсить жизнь, подняться над серыми буднями, и любовь к природе.

Так, 13 ноября по народному календарю «синичий праздник». Кормушку сколотить, горсть крох, крупы насыпать — кого затруднит? Привадил птичек — и себе доставил радость, и возродил добрый обычай, завещанный предками...

Уже сейчас можно развешивать птичьи домики в садах и парках, вблизи жилья: обветреют, промоют их дожди, прокалит стужа — в такие скворшники, дуплянки, синичники охотнее весной поселятся крылатые друзья.

По поговорке, приезжает ноябрь на пегом коне: то снег.

то грязь, то дождь, то холод. А уезжает на белом — плотно легли снега, пухом выстлали путь-дорогу зимнему декабрю...

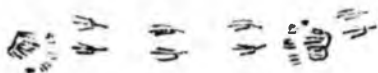


Наверное, самый теплый ноябрь выстоял в 1967 году в Вытегре, когда среднемесячная температура воздуха составила $+1^{\circ}$. Для ноября это немало! Самый же холодный ноябрь выпал на долю В. Устюга, где в 1956 году трещали морозы: средняя месячная температура составила -11° , как бывает в январе в Вологде!

Ледостав на Кубенском самый ранний за последние годы — 15 октября (1946 год), самый поздний — 11 ноября (1938 год).

Самый ранний ледостав на Сухоне (у Тотьмы) — 22 октября. Это было в 1920 году. Самый поздний (также у Тотьмы) — 31 декабря! Только к новому году вставала Сухона, и отмечалось это в 1923 и 1928 годах.

Кто, где? Куда и откуда?



КУНИЦА — ходит «гряздой», то есть поверху, прыгая с дерева на дерево. Летом другое было дело: то птенчика поймать глупого или глухаря линного схватить, то яйца стащить у тетерки из гнезда или в черничнике спелыми ягодами полакомиться. На земле резвилась куничка! Нынче тощего

дятла словит и рада; всего не съест — про запас унесет. В случае удачных охот куница спит в дупле сутками: силы бережет, зима вся впереди.

ВЫДРА — после ледостава трудней в воду попадать, зато рыба по глубинам стабунилась, — опять выдре хорошо. Сытая за-

бавляется, катаясь на брюхе с берега. А в рыхлом снегу ей трудно, лапки короткие. Выловив всю рыбу, выдра скитается в поисках полыней, замерзших перекастов — по льду озер, руслами рек, испльзует лыжни, тропы других зверей.

ЛАСКА — ходом рыжей полевки, туннелем подземным крота, снегом-целиком — всюду белый зверек проточится, только бы слух поймал подозрительный шорох. Ласка — старатель, избавляет поля от мышиной напасти.

РОСОМАХА — как бы ни глубока, выпуч был выпавший снег, бродяге не помеха: широки ступни лап, в сугробах не вязнут. Участок, росомахой занятый, бьзает в тысячу квадратных километров. Ночей не хватает, и днем росомаха рыщет по хвойному безлюдью глухотани.

БАРСУК — просит не будить! Вход к барсуку снежком прикрыло...

ЕНОТОВИДНАЯ СОБАКА — зажирила, отъелась — на покой, в нору. У нас в области насчитывается не более 2000 енотов.

ЛОСЬ — накануне зимы самые старые быки сбрасывают грузные лудовые рога: кланяемся-де тебе батюшка Мороз! Объединя-

ются лоси группами, по 3—4, до 10 в каждой, пасутся в крепях, в осинниках, скрытых за топкими непромерзшими болотами.

КАБАН — в сумерки в картофельных полях, пска землю стужей не сковало, выкапывает клубни. В одну из недавних зим долго кабан за г. Белозерском в колхозном поле картошкой питался. Бывает и в дубравах, рылом выкапывает из-под снега желуди.

ГЛУХАРЬ — «половички стелет». Сощипывая клювом хвою, глухарь ее на снег сорит, образуется как бы коврик под сосной. Все глухари в предзимье в глушь забьились, к окраинам болот, поросших сосной, в сосновые боры. Ночуют по деревьям в сучьях, на земле. Холодно, да полуметровый сугроб нужен, чтобы такой громадной птице в нем зарыться.

ЛЕБЕДЬ — улетел, на крыльях снег унес дальше на юг!

ЧЕЧЕТКА — по заполярью в тундре лебедю была соседка, а осталась у нас. «Чет-нечет!» — тренькает, привешиваясь к березовым сережкам вниз головой. «Чет-нечет?» — о чем, на кого гадают? Может, счет снежным дням повела?

СКВОЗНЯКИ

В голове не укладывается, как это так лисица опростоволосилась, что в полном смысле слова застал ее на пороге собственного жилья!

Траву сожгло заморозками. Рассеяв с сучьев вороха сухой листвы, сквозили березняки. Таилась в них грусть, которая шла от сумрачных елей, от свиста ветра и стылого неба.

Лужи на дорогах были скованы льдом: чистым, прозрачным по полянам, темным и непроницаемым — по ельникам, где шишки, сбитые ветром с мохнатых вершин, размокли и придали воде оттенок черной туши.

Блеклый осиновый лист, перекатываясь на прогалине, жестяно гремел. Насквозь замороженные сучья под сапогами трещали гулко, и шаги отдавались по лесу, как в пустом доме.

Я знал о лисьей норе в этом перелеске среди обширных полей. Тем не менее в мыслях не было, что застану хозяйку дома. Попутно привернул, от нечего делать.

Нора под корнями громадной старой ели. Кучи серого песка у входа, выброшенные при расчистке норы, мелкие птичьи кости, перья...

Вынырнув наружу, лиса уставила торчмя уши, желтые с прозеленью глаза вперились прямо в меня. Увидела!.. Я не шелохнулся, и лисица неспешной рысцой потрусила под елками. Я медленно-медленно опустил ся на колени, прикрылся кустом. Лисица неспоро перебирала лапками и хвост, носеда-рыжий, с белым пушистым наконечником, носила бережно, словно единственная в ее жизни забота — носить великолепный пышный хвост.

Она отбежала недалеко. Поосмотрелась. Обнюхала воздух. Взялась копать мох.

Захоронка! Лисица объедки прячет. Поживиться за счет ближнего в лесу найдется радостелей. Лисы сами не прочь почистить чужие кладовки, потому остатки своих охот стараются скрыть со всей тщательностью: заруют в землю, в снег и лапками сверху утрамбуют, носом печать поставят.

Однако лисонька очень уж долго копалась. Вернее, она драла мох лапами, вот и все.

Затем набрала мху в пасть и скрылась в норе.

Дважды она возвращалась за надраным мхом и уносила под землю. На зиму постель она стелет, да?

Нора лисой используется для вывода потомства. Но нег правил без исключений. Часто навещает или редко она свою нору, все-таки нора, как бы ни был велик охотничий район лисы, остается в его пределах. Переспать и отдохнуть под елкой, на скирде соломы, свернувшись калачиком, зверю в его шубке проще простого. Но захворай лисица — идет в нору. Ранена — в нору. Непогодь пала, холода — спешит лисица в норе отсидеться, если не в снегу под елками. И потому от одной мысли, что лисица в морозы спать будет на мху и укрываться хвостом, мне стало как-то хорошо: слышите, лиса к зиме постельку стелет!

С догадкой: перед холодами лиса постель себе потеплее перестилает, — и я ушел бы. Но пало раздумье. Догадываться — еще не значит знать точно, вот в чем дело.

Ждал я пождал — нет лисы. В нору к ней не заглянешь, не спросишь:

— Эй, кумушка, чем занята?

Я походил у входа. Нора давнишняя, наверное, в ней отнорков-то, запасных выходов! Я слежу за одним, лиса тем временем улизнет, что называется, с черного крыльца и хвостом не махнет на прощанье. А то отсижится: под землей на нее не каплет, не дует.

Ни с чем бы я убрался восвояси, да попался на глаза один из запасных выходов. Лучше сказать, отдушина, узкая щель, через которую лиса лишь при большом желании могла бы протиснуться. И была щель изнутри заткнута мохом. Тем самым, какой лиса под елками драла. Мох мягкий, пружинистый. Свежий, это сразу видно.

В семейной норе, где летом пестуются малыши, лис-старуха непременно налаживает вентиляцию. Лисятм зимой душно, недолго шубки подпарить. Через прорытые щели-отдушины поступает свежий воздух, гуляет прохладный ветерок.

Ветерок? Но зимой он к чему? Что летом ветерок, то зимой сквозняк!

Дерет лисица мох, в нору носит. Сквозняки ей не нравятся, верно? Здесь, в норе, она будет отсиживаться в сильные стужи, в метели, а также в оттепели — пуще чем сквозняков она боится, когда шубку мочит.

С ЛЕГКИМ ПАРОМ!

Из кустов медведь показался. Хвойная стена леса как бы приотворила одну свою лазейку, пропустила хозяина и вновь закрылась без звука.

Зверь был тучен. Живот отвисал и колыхался на ходу. Лоснилась шерсть, бурая, а на холке почти черная и изрыжа-золотистая в пахах. Как баки, выхоленные, ухоженные, длинная светловатая шерсть по щекам от ушей. На переносье заметна и нить своеобразного пробора. Добер зверина! Шуба... ох, и шуба. Не то, что весной: и худ после берлоги, и линяет тогда медведь. На задку шерсть свалывается, клочьями лезет. Так и подумаешь: один порточки на тебе.

Мишенька, и те на ходу спадают, до того, брат, отоцал... зима, такое дело!

Тихо двинулся он вдоль берега озера. Тихо — не то, пожалуй, слово. Солидно. Начальственно! Сгавил лапы носками внутрь, оттого косолапил. Однако и этим не ронял себя в основательной представительности. Шло ему косолапить, матерому, раздобревшему космачу.

Чаще и чаще он обнюхивал и скреб когтями лед закраин. Замышлялось у него что-то—это ясно. Иногда он уши ставил топориком. Поводил носом. Замирал. И точно расплывался, сливаясь с теменью леса. Неподвижного, его можно было принять за что угодно: за кучу торфа, обнаженный бугор или муравьище. Лес, суземье нехоженое, породившее зверя, и оберегало его, как тишью застойной, хмурой, готовой усилить и вернуть любой посторонний звук, так и слитной теменью дебрей, где густа навись хвон, вкрадчивы мхи, высоки завалы буреломы.

Мало-помалу медведь достиг устья ручья. Подмытый течением лед был слабее. Когда зверь дотрагивался до него, лед скрипел с тем же звуком, с каким палец ведет по опотевшему стеклу.

Медведь проворчал. Опустив лобастую голову, постоял. Сморгивал дремучими глазками — морда набок, округлые уши топориком. Мыслил.

О чем?

И все ворчал недовольно в нос. Казалось, сейчас рявкнет:

— Па-ачему лед трещит? А ну, подать сюда Тилкина-Ляпкина!

Определенно, не по нраву ему, что лед не держит.

Ворчал, гневался хозяин. Очень он вспыльчив, медведь. Такой у него характер.

После раздумья — голова набок, глазки смаргивают, — медведь опустился на четвереньки и заполз на лед. Полз он, оттягивая зад. А так и на четвереньках медведь был сама солидность. Будто хотел кому-то сказать: «За вас стараюсь... да-а!»

Бугрились, мелко-мелко шевелясь, лопатки под лохматой шкурой.

Лед прогибался, пошел трещинами.

Но вместо того, чтобы вернуться на сушу, медведь рыв-

ком вскинулся на дыбы. Громкий всплеск — стоя, солдаги-ком, зверь ухнул под лед.

А вынырнул... Ну и морда! Самая блаженная морда: глазки выпучены, зубами прищемлен язык.

Он сопел и кряхтел, шлепал лапами по воде и битому льду.

Медведь купался.

Только-то?

А какие были приготовления!

Вылез на берег — к шерсти налипли листья, сметенные в воду с ближних берез и ольшин. Дымил шкура на морозе, как с горячего полка медведь слез, славно напарившись.

Он отряхнулся. Повалялся.

И пропал. Исчез. Стена леса отомкнула неприметную лазейку, пропустила и вновь замкнулась — на семь запоров, на семь ключей...

Он ушел, унося на пахах прилипшие листки, — точно с веником была баня. Последняя баня.

Заперепалал сухой колючий снег. В полынье снег таял, спаивая осколки льдин.

Идти и идти снегу, льду расти, а медведю пора в берлогу.

Пора, пора на покой!

Шел снег, на хвойных иголках вязал кружева...

ЧИСТОТА

Выстужены запахи: чем и нанесет, так мерзлыми листьями, сметанными в ямы, мхом, опаленной инеями травой.

Бледные березы зябко жмутся ствол к стволу. Ели ежатся...

Издали слышно: подлетает синичья стая.

Налетела — возня, писк.

— Чи-и... чи-ис, та-а, та-а! — перебивая друг друга, выкликают синички-гайки. Цепляются к сучьям, всплескивают крыльями. Сама они удаль. Серенькие, белошекие, блестя черными глазками, будто подмигивают — до чего озорны и лукавы. А уж пушисты — подуй, кажется, ветер и облетят синички, как пух с одуванчика, ничего от них не останется, кроме звонких пронзительных трелок:

— Чис... чис! Та-а... та-а!

Есть у гаек еще два имени: «пухляки» — за воздушную

пышность оперения, и «чистота» — за прозрачный, звенящий наигрыш.

Шустро шныряют по сучьям, белыми щечками мелькают. Везде-то присунутся. Тут обнаружили яички бабочек, там гусеницу из захоронки выколупнули, здесь тащат жука за усы. К стволу прицепиться, опираясь на хвост, пухлякам ничего не стоит; повиснуть вниз головой — можно, пожалуйста! И юркнуть в густоту сучьев, столь плотную, что комару туда не забраться, — ничуть их не затруднит!

Есякую мелочь высмотреть, выщупать клювом — в их характере. Шарит пухляк в палых листьях, попадется что-нибудь подозрительное — он раз, и на язычок. Не пропустить бы червяка, гусеницу, слизня вредного. Прочесывают тайки лес любо-дорого.

Себя при этом расхваливают:

— Чистота-а... та-а... та!

Конечно, это не очень скромно с их стороны. Однако про кого и сказать: чистая работа, как не о них?

Благодушно жмурит ель зеленые ресницы. Когда гайки-пухляки выщипывают клювиками, из щетинистых лохм выуживают всякую нечисть, елке, может быть, и щекотно?

Стара, седа ель: ствол во мху, сучья до земли, образуют у подножья глухую пещеру.

Пролезла в пещеру одна гайка. Через мгновение с криком выюркнула обратно — перышки на темени дыбом.

Ай-я-яй, какой крик подняли синицы, на нее глядя.

Сорока с просеки отозвалась, пустила трескотню.

Сойки откуда ни взялись, добавили шуму и гаму.

Потом кто-то как заворчит в хвойной пещере!

Вышла рысь: «М-р-р... Поспать не дают оглашенные!» К шкуре белесой налипли хвоинки и мусор. Отряхнулась рысь. Раззявила пасть в зевоте и поскребла когтями елку, по-кошачьи выгибая спину.

Пухляки надсаживались в криках: «Та... та-а! Та злодейка, та... та! Та! У лосихи лосенка сцалала, глухаря на брусничнике поймала! Та-а... та-а!»

Не любят таежные хищники попадать на суд лесных обитателей, хотя бы и птичек вроде пухляков. Не нравятся, когда обнаруживают их скрытые тайники. Прыжками, скачками рысь вглубь леса. Пухляки за ней гурьбою.

Отстали...

Летают пухляки неважно. Слабы нетренированные крылышки. Порхать беззаботно — досуг ли сторожам лесным? Всегда при деле, всегда в труде и заботах маленькие хлопотуны-синички.

ПО ГРИБЫ

О радости пела летом листва, струясь, блеща и сверкая в солнечном потоке, звеня под струями дождя, плескаясь на ветру. Но кто расскажет о грусти ожидания холодов и вьюг в обнаженных лесах? Замкнулись в своей печали вековые рощи. Снегом присыпаны мхи, гнилые колодины, нахмуренные лбы муравьищ. Никнут рыжие травы. Лишь под елками еще чернеют прогалины — хвоя приняла снег на себя.

Шурша корой, по еловому стволу спустилась белка. Заползла у подножия дерева. Поднимая пушистый, расчесанный хвост, перепрыгивала с места на место среди моховых кочек и надолго задерживалась у пней и валежника. Иногда настораживала уши с кисточками, приподнималась на задних лапках, сложив передние крестиком. Потом оказалось, что в передних лапках у нее... лисички! Желтый нарядный грибок!

Ай да белка, до самых морозов у нее грибная свежинка.

И то сказать: теплая изладилась осень, в середине октября в укромных затишках можно было наткнуться на сыроежки, те же лисички, в октябре попадались и белые грибы.

Сыпался снег. В белом сумраке потерялись дальние деревья, роща обрела трепетную глубину...

КОНЬОБЕЖЕЦ

Небо стало ближе, поволоченное студеной хмарью. Вспомните, однако, промолва, точно голубая бездна, в которой на самом дне дрожит и мерцает одинокая звезда, исходящая слабющим светом.

В поле — желтая тонкая полоса зари, озябшие кусты ивыняка, запахи холода. Сильные запахи. Сильные, как этот снег... Матово белеют крошки лиловых, бурых облаков, сгруппированных над грядами черных лесов. Облака сулят снег. Снег на снег...

Сколько раз ходил я этим полем осенью, направляясь к Присухонской низине, и всегда угнетала его пустота. Оно было необитаемым. А выпал снег и открыл, что поле, кустарник, заросли шиповника и рябины густо заселены.

Следы, следы... Мышиные строчки, наброды тетеревов, заячьи одиночные следы-малики, следы ласок, горностаев, лисиц. Лисиц множество, оказывается. И это под самым городом, откуда видна мачта телецентра! Эго рядом-то со стройкой — неподалеку возводятся совхозом двухэтажные жилые здания, свиноводник на две тысячи голов, прокладываются асфальтированные подъезды!

В низинном кустарнике лужи стоячей воды застеклило льдом, присыпало снежком. Бежал ночью кустами хорек: следки его отпечатались четко, хоть коготки считай.

Бежал, прыгал хорек да и попал на лед, подскользнулся и на лапках, будто это коньки, лихо проехался по луже из края в край. То-то, наверное, визжал лед под острыми коготками, то-то дыбом поднималась гладкая глянцевиная шерстка зверька от быстрой езды!

Вот еще вспорот снежок на льду, опять проехался хорек. Уж не нарочно ли он катался?

Трясут хвостами сороки на березе. И они удивлены, и они не ожидали, что завелся среди хорьков лихой конькобежец!

•ИЗ-ПОД ПАЛЬЦА•

Рюкзак округлился. Словно невзначай клапан расстегнут. Заячьи лапы наружу, разжигают у пассажиров автобуса любопытство.

— Из-под гончей, поинтересуемся, взяли зайца?

— Нет, из-под пальца.

— Да? Что вы говорите!

Естественно, недоумение, расспросы. Как — «из-под пальца»? Что за новый способ?

Шуму, разговоров пойдет! Даже водитель обернется. И непременно в толпе кто-нибудь состроит усмешечку. Нашли, мол, у кого правду пытаться. Охотники, они такие: с оглоблей в рот заедут и выедут!

Но и округлившийся рюкзак, и разговоры в воскресном переполненном автобусе пока впереди. Так сказать, мечта пламенная, игра воображения.

И заяц «из-под пальца» — впереди!

А мечта осуществится. В скором будущем. Обретет явь в виде белого, в мягкой шерстке, с сивыми усами зайчишки. Поручкой тому мой сосед. По образованию Фридрих Васильевич ветеринар, по призванию охотничьему — поклонник белой тропы. По мастерству прямо-таки профессор. Крупный специалист. Заячья гроза. Выпал бы снег, первая пороша — его ни дома, ни на даче не застaneшь; в полях под Оларевым скитаeтся. Есть их, бродят любители косых потропить, ноги гудят, до того уходятся, а если у кого на ремнях за спиной белячок ушами свешивается, то у Фридриха Васильича.

По два зайца за выход — показатель, а?

Уламывал я Фридриха Васильича: возьмите да возьмите с собой, подносчиком патронов быть у вас рад.

Смилоствился:

— Ладно, — говорит, — беру.

Ждали первого снега. Осень выдалась теплая. Не морозит, снег не порхнет.

Сроки выходят, зима не торопится.

19 ноября наконец-то полстели белые мухи. Сложь, марли прозрачнее, затянуло поля.

Тропить — значит по снегу, по следам найти, куда зверь после кормежки убрался на отдых. Выгоднее всего сослеживать русаков, однако, вывелись они в наших угодьях, стали редки и находятся под запретом. На беляков охота трудна: держатся, по преимуществу, в лесу, где каждый кустик их поспать пустит. Залегают иногда в таком частом ельнике, в заболоченных пняках и кочкарниках — собаке не пролезть. В поле видно, куда заяц побежал. Другое дело в лесу. Выметнется снежным комком беляк... Всегда внезапно! Не поспел ты с выстрелом на скидку, глядишь, косой заслонился кустами, под защитой елок пустился наутек. На мушку глазом не поймал — дробью не догонишь!

Кормятся зайцы ночью. Напутают к утру, наколесят снег во всех направлениях примнут. Искусство надо, чтобы выбрать необманную тропку-затопку, по которой косой укатил на лежку.

Следы — по-охотничьи, «малики» — бывают жировые и гонные. Собираясь дневать, заяц мечет «петли», сдваивает и стравивает следы, делает «скидки», «сметки».

Увлекательно и заманчиво тропить косых!

Колкий морозный воздух. Снежная свежесть задумчи-

рых хвойников. Зори над полями. Разноцветные искры инея. И бодрый стук дятла, и перекличка клестов, и голубые следы на сугробах среди ржавых трав, присыпанных снежком...

Теперь самое время сделать признание: на зайцев мне не везет. Как-то получается, что стоит выйти за косыми, то обязательно именно мой бутерброд падает маслом в грязь!

Всю неделю по вечерам мы с Василием сходились уточнять детали предстоящего мероприятия: во что одеваться, что на ноги, какая дробь должна быть в патронах.

Помню, в четверг Василий вздыхал:

— Ах, и пороша нынче: короче заячьего хвоста.

То есть, снег пошел поздно, прекратился сегодня вскоре после полуночи, старые заячьи следы засыпал, оставив самые свежие. Ясно, по такой пороше удобно тропить. Попадется малик, то короткий, к лежке заяц шел. Держи ружье наизготовку — зот-вот, сию минуту вымахнет белячпшко из кустов, пойдет чесать лесом, подымая снежную пыль шерстистыми, как бы подбитыми войлоком лапами!

В пятницу морозило, деревья на бульварах стояли в инее.

В субботу — то же самое, мороз, бесснежье.

Василий раздумчиво сказал:

— Будем брать беляков из-под пальца...

В потемках, в самую темноту мы высаживаемся из городского автобуса. Мигнул он красными огнями и, удаляясь, зашелестел шишами по обледенелой бетонке.

Справа — деревни близ полей. Крыши белеют, печные трубы, как пеньки.

Вонзаясь острием в лес, слабо мерцает колея, накатанная полозьями саней. Дорога знакомая, и не узнать ее: мягко заровняны ямы и ложбинки, присыпаны сверху колючины и муравьища, и рыхлую их белизну воспринимаешь за тени.

Углубляемся в лес, считаем заячьи малики: первый... второй... Ого, четвертый! Есть зайчишки!

Развидняется. Посмуглели березы. Разжижилась гуца инея, подцветило ее мерклой зеленью.

Свет идет от снегов, от берез — голубовато-палевый, выбкий.

Небо заспанное. Узка лавровая опояска над лицами елей.

Новый малик. Милоеет. расплывается кляксами. Заяц дорогу пересекает.

— Пошли? — взглядом спрашиваю Васильича.

— Пора, — кивает он.

Невыразимы ощущения, когда идешь по следу зверя. Не след перед тобой — интимные строки. Писались зверем для себя. С пометками. Неразборчиво. Они волнуют, они завораживают: какую строку ни возьмешь, читать — откровение! О лесе зимнем откровение, о жизни, скрытой под пологом хвоя.

Писал беляк лапами, тянул строку. С передышками — здесь столбиком вытягивался, слушал тишину; здесь, у подножья ели, зеленые побеги черничника ципал, кору с ельщины скреб. Луна сияла, невесомо кружились блестящие снежинки, серебрился и плыл воздух, и ночь плыла, и ухал сыч из дальних гумов, собаки лаяли в деревне.

Синица поджала озябшую ножку — слышал беляк.

Иней рос, пушился на щетине хвоя — слышал.

Звезда сорвалась, прочертила гаснущую черту за края неба; крот вытолкнул из подземелья грудку влажной земли; мышка пробежала, волоча хвост, от кочки к кочке...

Слышал, видел беляк.

А сам — невидимка. Весь белый, на ушах только черные отметины да круглые на выкате глаза карие.

Хруп! Хруп! — под лапами снежок.

То ли навись сорвалась с ветки, то ли сучок тонюсенький с мороза хрупнул... Хруп! Хруп!

Одни следы выдают белячишку в лесу, где и лисица, и гризли, и травы-таволги, позябшей на корню, и кучи хвороста. Каждый кустик, каждая елка ему родные. Родные с того часа, как он вместе с двумя другими зайчатами появился на свет, а мать бесечно скрылась, оставив их на произвол судьбы, с глазу на глаз с чащей, супившей зеленые хвойные брови, с шумом ветра в молодой листве...

Хруп! Хруп! — по лесу.

Ты да ляп — лапы по снегу.

Тянулась строчка. Безжалостно слетела с другой. Тоже аячней.

Прогалина. Дрова в поленах. Прутьев, озявшего черничника пароняно!

Из ближних урочищ сюда, что ни ночь, сбегаются ко-

сые. Ошкуривают ветки и стволы, зубрят траву под елками, куда снег не успел с ветвей ссыпаться.

Приволье. Поели — играют. Вперегонки носятся. Прыгают. Кто и на снег лег, валяется, болтает лапами...

Чу! Стук и гром!

Зайчишки враспынную, кто куда. Хруп! Хруп! — и стихло все.

Подходили лоси. С осени они приметили порубку с наваленным молодым осинником и, как зайцы, собирались к ней покормиться корой.

Ночь была на исходе, и наш белячок отправился на дневную лежку. Постоянного логова у зайцев нет. Где застанет рассвет, там и спят.

Он летел длинными скачками. Без остановок. Перемахивал через валежины. Торопливый гонный бег исподволь перешел в осторожный, когда лапки ставятся кучнее, прыжки короче. Дышал беляк запаленно, вокруг круглой мордочки пар. К потным подошвам лап прилипал снег. Поустал зайчишка, стало заметно, что он прихрамывает: осенью гончие гоняли, угодил под выстрел и едва ушел с дробинами в задней левой лапке.

Забирая в сторону по частой еловой заросли, беляк сделал круг и вернулся на прежний свой след. Резво, как на пружинах, прыгнул за можжевельный куст. Поводил ушами, встав столбиком. Шея у зайца не поворачивается, поэтому, чтобы оглядеться, он вынужден подниматься на задние лапы.

Тихо, безмолвно было в сумерках предрассветных.

Беляк заковылял дальше. Отбежав с полсотни метров, он прыжком скинулся вправо, прошел под соснами до горелого пня, где летом пастухи жгли костер, собственным следом вернулся обратно — сделал, как охотники говорят, двойку. Новый прыжок в сторону — очередная скидка. Плавно забирая влево, метров через двести еще скинулся, выписал лапами двойку, на этот раз длиннее предыдущей. Сход с двойки он замаскировал в частых, росших ершиком молодых елочках.

Крутил и петлял белячок, выписывал двойки. Последнюю он метнул под группой сосен. Зеленым половиком у подножий прутья, хвоя. Глухари кормились. Хвоею клювами стригли. Черные бородачи любят зимами навещать эти сосны. Колкой мороженой иглой набивают зобы. Ветви,

макушки деревьев начали кое-где подсыхать. Одну сосну осенью сломало бурей. Высокий пенёк торчал расщепами. Вершина упала во мхи.

Под нею, в плотном заснеженном сплетении сучьев, как в пещерке, заяц лег на день.

Кто бы ни взялся преследовать его по следам, должен был неминуемо по крайней мере дважды пройти вблизи лежки. При этом не видя беляка. А он... Он-то и видел бы, и слышал все еще издали. Лежка выбрана отличная!

Он спал. Спал с открытыми глазами...

Лосей на порубке мы не застали: побереглись сохатые, ушли к болоту.

— Ярмарка! — Васильич весело прищуривался, был доволен, что следов на порубке много.

Он скидывал рукавицу, проверял прутиком, а то и просто голыми пальцами малики.

На морозе следы уплотняются. Первой отвердевает подошва. Объяснение не сложное: лапами зверь сбивает пухлую поверхность снега, нижние его, более теплые слои оказываются на поверхности, и мало-помалу их схватывает морозом. Чем ниже температура воздуха, тем быстрее стынут следы.

Когда на сутках снег не перепадает, то новые следы от старых почти не отличимы иначе, как на ощупь.

Тут вроде детской игры. Мы водим, считай, с завязанными глазами, зайчишка-плут прячется, а следы его кричат: «Холодно... еще холодней! Тепло... тепло! Холодно-о! Теплей... еще теплей! Горячо!» Горячо-то будет, если к лежке подойдем!

Легонько, деликатно Васильич ощупывал следы. Проникая сквозь подошву свежего, предутреннего следа, палец не задерживается, идет в снег, как в воду.

— Ну, теперь имеете представление, как берут зайца из-под пальца?

Найден выходной след беляка с порубки.

Зазывно синеет тропа, и мы идем по ней. Читаем строчку. Одну в снежной книге строчку.

Рядом другие. Мышка в гости к соседке бегала — своя строка. Рябчик «с полу» походя подбирал семена, крошенные ветром с берез, листья брусничника, ягоды клева — опять строка. Белки наследили. Лисица мышиную

нору раскопала. Глухари ходили... Строки и строки — лесная зимняя поэма!

Скрип-скрип, — послышалось зайцу из темных глубин хвойника. Заводил ушами. Сжался.

Скрип! Скрип! Появились люди с ружьями.

Заяц не шевелился — белый комок на белом снегу. Может быть, пронесет беду?

Один человек шёл по следу в десяти метрах от лежки. Но ход к лежке от сосен, и он не остановился. Скользнул взглядом по замершему зверьку и — мимо.

— Васильич, куда мне вставать?

— Держись ближе к вершине. Тут он, следите в оба.

Шепот. Скрип снега. Рыскали по сторонам пустые зрачки ружейных дул.

На какое-то мгновение люди повернулись к зайцу спиной, и этого было достаточно: белый комок ожил. Хвойная ветка, задетая лапой на прыжке, качнулась, отряхнула снег и замерла...

— Провел бесенок! — воскликнул Васильич немного погодя. — Под вершиной лежал. Но ничего, не будем отчаиваться, по правилам, он должен круг сделать. Стойте здесь, на лазу, я его шугну.

Сколько мы разбирались в жировых следах, около получаса шли по гонному малику, потом крутились по двойкам и скидкам у сосен. Время идет.

Однако делать нечего, надо ждать. Должен бы сюда вернуться косою, на гону у него в обычае закладывать круги.

Я жду десять минут. Жду дольше. Жду час.

Вернулся Васильич.

— Шалый какой-то зайчишка, — грузно сел он на пенек. Лицо красное, потное.

— Вообразите, подался к дороге. По санной колее отмахал с версту. Едва-едва я скидку его обнаружил. Бегом бегал, упред в полушубке, спина сырая.

Он запарился, я озяб, стоя на лазу.

«Охота пуще неволи», — все этим сказано.

А от дороги беляк ушел... на лисий след!

Тропа старая, следы отвердели. Торная тропа.

— Ловкач, — восхищался Васильич. — Отмочил номер. Косою, а соображение есть: зачем по снегу-целине себя утруждать, лучше чужим следом пройти. Пусть и лисьим!

Скакал и скакал беляк тропой лисицы и сошел с нее в густой и частой, как гребень, березовой поросли.

Петли, скидки — не скоро разберешься, что к чему. Шалый, действительно, зайчишка!

Ломим по кустам. Шум, треск. Снег с ветвей сыплется за шиворот, тает на лице, смешиваясь с едким потом.

Вылезли из кустов. Росчисть. Поленница дров.

Мы ведь на этой самой порубке утром были...

Ну и дали круг!

Хмурится Васильич. Опустившись на колено, пристально рассматривает знакомый малик. Вспухают на скулах желваки. Явно чем-то расстроен Васильич — заячья гроза.

— Что увидели? — говорю я.

— Собственно, ничего такого. Но хром наш зайчишка, поэтому и по дороге бегал, лисьим следом шел... Н-да, ничего особенного, все в порядке вещей.

Встав с колена, он щурится на вершины елок. Розовеет снег. Солнце клонится к закату.

— Нет, нет, я ничего, — повторяет Васильич, встретившись со мной взглядом.

Ничего-то ничего, а ружье закинул за спину.

— Сегодня воскресный день, вечерние автобусы идут переполненные...

— Конечно, переполненные.

К чему он клонит?

Отступить от зайца, потому лишь, что он хромой? Мы его не возьмем, попадет лисе в зубы, сова его скогтит. Ох уж мне эта сердобольность некстати!

— Поправится, — словно прочитав мои мысли, говорит Васильич. — Это я как ветеринар свидетельствую.

«Свидетельствую»... Высказался! Будто мы на суде!

— Приглядитесь к поленнице, — продолжает он негромко. — Вон... вон! Не туда смотрите, вы пониже гляньте, там березовое полено откатилось.

Полено? Здоровущий беляк собственной персоной — вот там какое «полено» откатилось. Ловкач, нас по лесу с утра водил, соленым потом мы умывались, а плут и на глаза не попался. Санным полозом следы маскировал, на лисьей тропе лапки берег...

Да, да, лалки.

Прижался белячок к снегу. Белый комок на белом сне-

гу. Сжался, спину горбит, а больная лапка отведена в сторону.

Гоняли мы его, разбередили рану...

— Где? Какое полено? — спрашиваю я. — Ничего не вижу, Василийч.

И ружье — ну его, еще соблазнишься выстрелить — вешаю на плечо.

Запрокидываю голову:

— Шишек-то на елках, Василийч! Урожайный год!

— Потому и белки много.

— Ничего не скажешь, заяц в лесу тоже есть.

Как бы невзначай, не сговариваясь, мы оборачиваемся к поленнице спиной.

— Есть и зайчишки, — говорит Василийч. — Какие у вас планы на следующее воскресенье?

— Лес и «заяц из-под пальца»!

Через плечо я скашиваю глаза на поленницу.

Поправится наш белячок. Эх он сигнул в кусты: метра на три был у него первый прыжок! Мызгнул белячок, прихрамывая, через росчисть и был таков...



ДЕКАБРЬ — СТУДЕНЬ



Год кончается месяцем — «студенем». Мороз, по приговору, в декабре в медвежьей шубе по крышам стучит, велит печи топить, а за ним метели просят себе дела. Будет вам дело: год кончается — зима начинается!

Пряди берез в инее.

Снежной пылью забиты кудри сосен: издали красно-бурые деревья точно в белых яблоках...

Пояс желтой стилой зари. Запахи озябшей хвои. Каждый звук на морозе словно топором вырублен: вон дятел пронорял, хлопая крыльями; вон кто-то ворохнулся в хвойной густоте...

Тайга иссечена лыжнями: декабрь — разгар пушного промысла.

Волшебным колобком катится по сыпучим снегам собачка-лайка. Подала голос, и волнуется охотник, спешит на зов своей спутницы. Сноровка и опыт помогут разглядеть зверька, притаившегося в сплетении сучьев; мастерство — сбить его пулькой в голову и не испортить мех.

Взлаивает, коготками поскребывает лайка. Кого нашла? Белку или кунницу?



Рябчик вылетел поклевать почку.

Белка...

Свешивает пушистый хвост. Серая-серая — под цвет мхов и лишайников.

Тщателен прицел. Отрывист щелчок выстрела малокалиберной винтовки.

С сучка на сучок падает белка. Кладнув зубами, песок подхватывает теплую мягкую тушку.

У глухого ручья встретятся наброды норки. Найдена лазей под лед. Охотник выбирает капкан в заплечном мешке. Протирает сталь хвоей. Он в новых холщовых рукавицах. Носит их специально для того, чтобы ставить ловчие снасти. Тронуть голыми руками капкан, дохнуть на него — ни-ни! Чутьист таежный зверь.

Если капкан установлен на верном ходу зверя, соблюдена маскировка, то наградой промысловнику будет желанный трофей. В цене пушнина — «мягкое золото».

Под суоями-сугробами спят поля, во все стороны избеганы ласками и горностаями, лисицами и хорьками. Бы-

вает, волчья стая нагрянет. В стае зверей пять-шесть, а пройдут — след в след, пята в пята — кажется, один зверь поле перемахнул. Стерегутся волки, затаивают тропу.

В скирде соломы завелся таинственный посетитель: величиной с мышь, рыльце с тупым хоботком. Это землеройка. Ну, держись мыши! Кормится землеройка насекомыми, но коль мыши-полевки под боком, она их поубавит. Что ни ночь, то писк, возня, погони. Что ни ночь, остаются от мышей одни шкурки!

А серые куропатки повадились в гумно. Осмелели, голод сделал бесстрашными пугливых дикарок.

Дятел оборудовал кузницу. Носит с елок шишки к осиновому пню. Вставив шишку в расщеп, выколачивает семена. Стук! Стук! — гремит лесная наковаленка».

И если у дятла кузница, то в самом деле зима настоящая. Зима, — если в крепях, удаленных урочищах скрываются глухари; лоси перешли в осинники; крот убрался в глубокие подземные галереи...

Коротки дни. Длинные ночи.

Холодно в лесу и в поле. Холодно и голодно.

И сороки на задворках избы, и румяные снегири в парисаднике...

А синицы вдруг залетели через раскрытую форточку. Как раз на чай: дед бабушке самовар согрел. Бабушка: ах! ах! Дедушка: ах! Одна синичка, недолго думая, прицепилась к гире ходиков, вторая принялась долбить циферблат. Часы тикают, синица как крикнет: «Че-ервь!»

Нашла червяка, называется! И смех и грех...

22 декабря — день «солнцеворот». День свету прибавляет, солнышко с зимы на лето поворачивает.

Наши деды-прадеды в этот день катали с гор колесо:

Покатилось колесо с Новгорода,
С Новгорода и до Киева,
С Киева по Черну-морю...
Колесо, гори-катись,
С весной красною вернись!



Установление снежного покрова... Опять? Не поздно ли? Опять и не поздно. Потому что не так уж редко бесснежье в начале зимы. В 1344 году первый снег в Вологде увидели только 16 декабря. В Вытегре в 1949 году снежный покров установился того позже — 23 декабря. Снежь долго в декабре не было снега в 1948 и 1953 годах почти на всей территории области.

Конечно, выпадают и многоснежные декабри. Так в 1967 году на Чар-озере декабрьские снега достигали 61 сантиметра.



МЕДВЕДЬ — лучше благоустроены, как правило, убежища медведиц. И не обязательно берлоги в глуши — наоборот, медведю, шутят охотники, зимой удовольствие слушать, как петухи поют в деревне! В 50-е годы в Вологодской области добывалось от 500 до 750 медведей. Несколько лет назад введены ограничения в охоте на этого зверя.

ЛИСИЦА — в норах только в слякоть да в стужу, и то редко. Мышкуют по полям, по лугам.

КУНИЦА — из таежных зверей дает самую ценную пушнину. В

год заготавливается 4500, к весне остается около 4000 куниц.

ХОРЬ — в охотничий сезон добывается в области около 1000 (остается к весне 3000).

НОРКА — кочует, так как после ледостава и выпадения снега реки на многих участках стали для нее недоступны. Придерживается полыней, промоин, незамерзающих ручьев и лесных речек. мех высокого достоинства. Отлавливается до 3000 из общего количества зверьков в 7-9 тысяч.

ВЫДРА — численность постепенно растет (сказываются стро-

гие ограничения в промысле). Учтено в области более 2000, добывается за сезон 400-450.

ГОРНОСТАЙ — временные, часто сменяемые убежища под валенником, в ометах соломы. Деятелен горностаей преимущественно в темноте. При охоте за водяными крысами плавают и ныряет. Но всего ему роднее снег, сугробы! Сутками не выходит горностаей на поверхность, как и ласка, уничтожая мышей часто больше, чем может съесть. Согласно учету, горностаев у нас 12-13 тысяч. Дает экспортную пушнину (до 1,5 тыс. шкурок в год).

РЫСЬ — в сумерках и ранним утром на охоте в хвойниках с обилием рябчиков, на моховых болотах в пойменных лугах, где есть зайцы-беляки. Голодная делает заходы в деревни и поселки. В области учтено 630 рысей.

БОБР — насчитывает сидеть на «консервах» — моченой коре и прутьях и, покидая норы и хатки, кормится в ивняке, валит осины. К 1959 году в Вологодчине было 306 поселений бобров на ста лесных реках. Охраняется государством.

БЕЛКА — численность зависит, главным образом, от урожайнос-

ти семян хвойных деревьев. В самые благоприятные годы заготавливалось по области до миллиона беличьих шкурок, в худшие — всего 7-10 тысяч.

ЗАЯЦ-БЕЛЯК — согласно учету, в вологодских лесах имеется до миллиона. В глубоком снегу торит тропы. На день устраивается где-нибудь под кустиком. Почему с открытыми глазами спит? Рад бы сомкнуть веки, да век-то и нет!

РУСАК — очень мало — около 2000. Чаще встречается в полевых угодьях Междуречья, под Чебсарой, в Череповецком, Грязовецком и других южных районах.

РЯБЧИК — как и тетерев, перешел на питание березовыми почками. Делая лазы в сугробы, под снегом собирает с земли семена трав, клюет ягоды, зелень. Если начало зимы выдается холодным и малоснежным, рябчики могут гибнуть от стужи — замерзают, замерзая, наполненные пищей зобы у носящих на деревьях птиц. Насчитывается по области в пределах двухсот тысяч рябчиков. Охоты ведутся заботятся об увеличении численности их хотя бы до миллиона.

ФОРТОЧКИ

Пальцы заковенели. Спину царапают, колют ледяные иглы. Насквозь продрог. Рябчика беру на манок. Не осенью — зимой! От мороза, поди, у него перья дыбом, но горлышко не боится застудить: я пикну в дудочку раз, он отзовется трижды.

Баррикады бурелома. Лохматые ели в сивых бородах, островерхие, как колокольни. Выбеленное стужей небо. Серый впрозелень снег хвойных затишков. И здесь — тонкий, прозрачный наигрыш свирели! Обморожены елки, на овой лад скрипят, горе мыкают. У каждой свой тягучий вздох, если ветер налетит, раскачает сучья. Но пролилась ручейком тонкая бесхитростная мелодия, такая чуждая и

этим траурным елям, и тусклому снегу, белому небу, и нет мохнатых елей с мудрыми бородами, седых от инея елей, которые каждая порознь скрипит. Есть лес единый. Заслон дремучий, где дерево дереву сучья тянет, как руку в беде подает...

Когда рябчик, делая подлеты, покидал березы, стряхнутая с ветвей навись инея клубилась облачком.

Откликнулся рябчик и сел рядом — за хвойным застеном. Не видно его. Слышу, как с ольхи сережки рвет.

Я зову в дудочку: ко мне-е... ко мне-е!

Он теперь на два-три моих приглашения пошлет одно: «Не-ет... нет, ты ко мне», — и молчок. Хрупают, слышу, бруснит на ольхе сережки.

Донял меня мороз. Больше терпенья нет. Скинув лыжи, переступаю валенками, греюсь. Снег визжит, скрипит — сухой, убродистый снег.

В переливах рябчика простулило беспокойство.

Не-ет... нет! Ты-ы ко мне! — настойчиво зовет он меня с медной дудочкой. Общительная птица, наверное, сладкую ольху нашла, хочет поделиться: сережки, почки на ней — объеденье. Лети-и... лети-и! Там у тебя кто-то снегом скрипит, слышишь?

Я оставил засаду. Обедай он спокойно. Что же до дудочек... Поверь, мы на них тоже летали. Разные, поверь, бывали в жизни дудочки. Бывали и мы серенькие!

Знаю, с кормежки западет рябчик в сугроб поглубже. Разнежится в снеговой спальне. Лыжей наедешь, тогда взлетит. Но чтобы откликнуться тогда, пролить в суземье свирельный ручеек, — ни-ни. За кого вы его принимаете, чтобы он, с постели взбуженный, песенки распевал?

Вставало солнце, хмурое, багровое. Прогалины неба меж сетью сучьев и пологом хвои обретали синеву. Запестрели солнечные блики, кое-где на полянах сквозь мерзлую щетину нацедило лужайки света. В тени зато ели чернее мглились, под хвойными лапами стало еще темней и глуше.

Мороз напускал студеной туман. Низкая хмарь заволокла и небо, и лес, в котором опять каждое дерево по-своему скрипело и вздыхало.

Снег залиловел, стал пасмурным, а следы на нем посветлели: вот ласка пробежала, вот лиса.

Вот проточила округлый лаз наружу из подснежных своих покоев серая полевка...

Что-то мне везет сегодня на сереньких!

Полевка — грызун, из себя как мышь, та разница с виду, что хвост куций. И за что ее полевкой зовут? Набегает в поля. А так в лесу живет, по крайней мере в наших краях. Что она серая, тоже этого не скажешь. Шерстка бурая, хвост снизу белый, сверху коричневый.

И повадки у нее отнюдь не серого зверька! Она приспособилась, ей зима — не зима.

Голодно? Позвольте, а кладовые! Не пусты — припрятано кое-что про черный день.

Холодно? А гнездо! Мой дом — моя крепость, может сказать о себе полевка. Снег от дыхания зверьков — держатся они колониями, кучно — подтаивает, поэтому над гнездом полевки защитный ледяной купол. Теплы стены шарообразного гнезда, выплетенного из сухой травы. настолько теплы, что зимою полевки могут обзаводиться семейством.

Житье паразитам! Все, что надо, при них. Шмыг-шмыг полевки по своим подснежным туннелям, да и домой.

Единственно плохо — душно. Для доступа свежего воздуха и прорыты в сугробах вертикальные ходы. Душно в норах, жарко — форточки настезы! Эх, ласки нет: она бы вас через эти форточки приголубила.

Приспособились, зима — не зима раздобревшим жирным и самодовольным полевкам, лесным и полевым паразитам...

Слышал я, полевки не выносят мороза. Стоит в стужу на снегу минут пять пробыть, сразу и каюк ей, околеет.

Сегодня градусов под двадцать. То-то ни одна в форточку не высунется.

Впрочем, покараулю с места не сходя.

Зря зябнул: хоть бы одна показалась в форточку. Я бы ее лыжной палкой — и на снег.

Лыжами наследил я по колонии полевок. «Форточки» ломал. Ничего, они их снова прорывают. Себе на беду. Потому что в глуши лыжниками охотников часто пользуются горюшками, ласки. Так что ждите, полевки, нагрянут к вам гости незвано-непрощено!

Вдруг впереди, шагах в пяти, что-то протемнело — выскочило из снега и спряталось.

Полевка! Сейчас я шапкой ее. Поймаю, кошке унесу в гостинец. Балованная у нас кошка, мышей в глаза не ви-дела.

Скольжу на лыжах. Тихо-тихо. Осторожно-осторожно. Шапка наготове. Ну, появись... ну же, высунь нос на мороз! Губу закусил: вынырнет полевка, а я ее в шапку.

Тут как затрепещет под снегом, поднялась белая пыль. Из нее вымелькнул, хлопая крыльями, рябчик.

Он мне показывался, а я думал — полевка. Рябчик под снегом роет, копает ход в сугробе, да нет-нет и высунется наружу. Тоже, как в форточку. Высунет головку из снега, хлебнет в форточку морозцу. Дальше копошится, угнезживаясь потеплее.

Мглисто в лесу. Туман морозный. Ели стоят неподвижно, как на часах. Ветер унялся, деревья не скрипят.

Солнце краешком выглянуло из-за лиловой тучи. В хвойном затишке высоко-высоко горит снежинка. Горит, переливается, будто смеется.

Надо мной, что ли, смеется?

Это надо же — шапкой рябчика ловил!

БУЛЬВАР

Провисшая между нижними сучьями ели паутина раскачивает снежинки. Уцелела паутина чудом. И чудом низались на нее ледяные, с острыми лучиками звездочки: ожерелье — глаз не отвести! Но добавься одна-другая снежинка, не выдержать паутине тяжести, рассыплется ожерелье.

Небо лиловое, размытое, поэтому и снег смутно лилов. Опускаясь на сугробы, он становится белым — густой, рыхлый снег.

По лесу разносятся крики дроздов-зимовщиков. Рябины, ягод шиповника обилие, зимовщикам заботы нет, что грядет бескормица.

Этот участок просеки, ведущей к Присухонью от деревни Ведрово, у местных жителей и приезжих охотников известен, как «бульвар». Широкий бульвар, тенгист и прям. На дворе разваливает ельник, залепленный снегом.

Кто-то спозаранок проехал на заливные луга за сеном, однако снегопад начисто заровнял следы лошади и полозьев.

Пробрела тетерка, мыши настроили стежек... Немного-таким гуляющих на лесном бульваре!

Заполдень высветилось небо, снегопад иссяк. Красным кругом обозначилось солнце сквозь сиреневую дымку. Смотрю я: на сугробе что-то шевелится. Не поленился наклониться. Да это бабочка! Вживе-вздраве бабочка в декабре, на снегу!.. Между прочим ничего особенного. Если бабочка — пяденица. Буро-желтые пяденицы выводятся из куколок не летом, а как раз зимой, в декабре.

Как говорится, у каждой Машки — свои замашки.

Возвращаясь домой, еще издали я увидел лису. Она трусила по следу полозьев, задумчиво, в рассеянной мечтательности опустив мордочку книзу.

Я замер. Известно, на неподвижные предметы ни зверь, ни птица не тратят внимания.

Черные-черные ели в розоватых пятнах нависи, бурый придорожный бурьян, белый острый клин просеки и алый цветок лисьего меха на снегу...

То ли собаки ее с лежки спугнули — с утра слышался шум гона и выстрелы, — то ли надумала, что на луговинах легче мышами разжиться, но держит путь определенно на Присухонскую низину.

Горжетка сама идет в руки! Кабы у меня патроны в стволах были с крупной дробью...

«Возможно, успею перезарядить?» — спохватился я и потянулся к патронташу. Этого движения достало, чтобы лисица заметила меня, метнулась с бульвара — и была такова.

Кричали дрозды. Раскатисто, гулко отдавались в лесу удары дятла. И в дроздиных криках, и в стукотне дятла мне чудилось:

— Прозевал! прозевал! прозевал!

Ладно, довольно вам. Подумаешь, прозевал! Как-никак бульвар, хоть и лесной. Гуляют по нему, чистым воздухом дышат. А шум, пальба — к чему это? На бульваре-то!

НА РАЗВЕДКЕ

Пал недавно иней мгlistой ночью. Серебряным чеканом засверкали наутро тяжелые шлемы бора, тронула седины великаньи кудри. Одинокaя березка в полях накинута кружевную фату. Пригорюнясь, печально опускала плаку-

чие ветви. Что, не Морозко ли тебя высватал? За старого идти неохота?.. А бурьян при дороге, тот вовсе на себя был непохож. Каждая былинка в пышном ином — точь-в-точь плюмаж из страусовых перьев. Подавляло это великолепие. Причудливость снежных узоров казалась показной и неестественной, и думалось: рано нынче пришла зима.

Но дохнул ветер и во всю хвойную силу зазеленел сосновый бор. Сбросила березка фату, растрепала косы, как беспечная девчонка. И бурьян стал как бурьян — рыжие бодылья.

Ни блессток, ни сверканья. Серое небо с лиловой каймой по горизонту. Синяя полоса леса вдали. Санний след к столу. След по белому-белому полю...

Я медленно иду занесенной снегом тропой — из полей на берег реки.

Повечерело. Снега засинели, одна лента реки, стесненной крутыми берегами, все белеет и белеет. Река богата ключами, над промоинами закрутился пар, наслаиваясь в тающие облачка. Знать, подмораживает к ночи.

Вдруг что-то темно-бурое приземистое шевельнулось поодаль на обрыве. Мелькнули длинный хвост, плоская усатая морда, короткие лапы. Зверь проворно скользнул вниз. Я успел разглядеть, что скатился он на боку и, вильнув хвостом, как рулем, скрытый снежной пылью, юркнул в трещину заберега.

Выдра... Нежелательная, скажем, встреча! Я пришел разведать, где можно поставить крючья на налимов. Рыбалку предвкушал. Но если выдра... О, это рыболов, с каким тягаться не берись. Что увальни-налимы, выдра запросто ловит и стремительных хариусов, и закованных в золотую кольчугу сильных язей. Она-то уж поубавит рыбы в реке!

Я подбежал к обрыву. По отпечаткам следов, вернее, по их немногочисленности, главное, по тому, что снег, где лежала выдра, подтаял, заключить было нетрудно: зверь провел на обрыве добрый час. Провел в неподвижности. Он подпустил меня близко и скрылся подо льдом как бы нехотя.

Ясно, чего ради забиралась выдра на высокую кручу: она разведывала новый водоем, на котором появилась, быть может, вчера. Она высматривала сверху полыньи и трещи-

ны в заберегах. Высматривала и запоминала, чтобы ночью на охоте попусту не тратиться на поиски лазеек под лед.

Выдра — угрюмый и необщительный с плоскими холодными глазами зверь.

Но вот долгонько-таки она провела здесь, на высокой круче!

Я огляделся вокруг. И улыбнулся:

— А что? Тут есть что посмотреть!

Над полями зарделась заря. Яркие желтые и багровые ее полосы наливались огнем. И сугробы заалели, и березка вспыхнула румянцем, и столбы дыма над кровлями деревни тянулись столбами вверх. Рыжими на фоне неба столбами...

ОГЛАВЛЕНИЕ

| | |
|---|----|
| Январь — весне дедушка | 5 |
| Самое-самое-самое | 8 |
| Кто, где? Куда и откуда? | — |
| Серая пушинка | 10 |
| Непокорная быстрина | 11 |
| Судья | 14 |
| Февраль — бокогрей | 23 |
| Самое-самое-самое | 26 |
| Кто, где? Куда и откуда? | — |
| Снеговик | 27 |
| Оляпка | 29 |
| Пересечения троп | 31 |
| Март — позимье | 42 |
| Самое-самое-самое | 45 |
| Кто, где? Куда и откуда? | 46 |
| Анютины глазки | 47 |
| Гренадерки | 48 |
| Парикмахеры | 50 |
| Апрель — красная горка | 51 |
| Самое-самое-самое | 53 |
| Кто, где? Куда и откуда? | 54 |
| Проталинка | 56 |
| Дыхание | 58 |
| Глухариные ночи | 59 |
| Май — травень | 72 |
| Самое-самое-самое | 75 |
| Кто, где? Куда и откуда? | — |
| Медуница | 78 |
| Зеленый прибой | 79 |
| Под майскими звездами | 81 |
| «Хорошие ребята» | 82 |

| | |
|------------------------------|-----|
| Июнь — червень | 90 |
| Самое-самое-самое | 94 |
| Кто, где? Куда и откуда? | 94 |
| Желторотик | 95 |
| Тетеревишкина школа | 97 |
| За синей птицей | 98 |
| Июль — зеленая страда | 115 |
| Самое-самое-самое | 118 |
| Кто, где? Куда и откуда? | — |
| Соседи | 120 |
| Валерина | 122 |
| Колодцы | 123 |
| Фонарик | 125 |
| Август — межнйяк | 126 |
| Самое-самое-самое | 129 |
| Кто, где? Куда и откуда? | — |
| Едома | 131 |
| От дождя да в воду | 132 |
| Повестка | 133 |
| Засада | 134 |
| Сентябрь — новосел | 139 |
| Самое-самое-самое | 142 |
| Кто, где? Куда и откуда? | — |
| Рыжики | 143 |
| Кораблики-невидимки | 146 |
| Красные сережки | 147 |
| Катом и подкатом | 149 |
| Октябрь — лястобой | 155 |
| Самое-самое-самое | 157 |
| Кто, где? Куда и откуда? | — |
| Сапожное шильце | 159 |
| Калишка | — |
| Медок в сапожках | 161 |
| Ромашка | — |
| Черная рада | 162 |

| | |
|------------------------------------|-----|
| Ноябрь — ледовый кузнец | 175 |
| Самое-самое-самое | 178 |
| Кто, где? Куда и откуда? | — |
| Сквозняки | 179 |
| С легким паром! | 181 |
| Чистота | 183 |
| По грибы | 185 |
| Конькобежец | — |
| «Из-под пальца» | 186 |
| Декабрь — студень | 195 |
| Самое-самое-самое | 198 |
| Кто, где? Куда и откуда? | — |
| Форточки | 199 |
| Бульвар | 202 |
| На разведке | 203 |

Иван Дмитриевич Полуянов
ЗА СИНЕЙ ПТИЦЕЙ

Фото автора

Редактор Е. Ф. Богданов
Художник О. А. Бороздин
Художественный редактор В. С. Вержливцев
Технический редактор С. И. Соколова
Корректор А. А. Фонтейнес

ГЕ00110. Сдано в набор 19.5.1969 г. Подписано к печати 22.10.1969 г.
Формат 60×84/16. (Бумага типографская № 3). Бумажных листов 6,6.
Печ. л. 13. Уч.-изд. л. 10,935. Тираж 30 000. Заказ 4015. Цена 47 коп.

Северо-Западное книжное издательство.
Архангельск, пр. П. Виноградова, 76.

Областная типография, г. Вологда, ул. Калининна, 3.